



Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

- [И. М. Каренин](#)
 -
 - [Глава I](#)
 - [Глава II](#)
 - [Глава III](#)
 - [Глава IV](#)
 - [Глава V](#)
 - [Глава VI](#)
 - [Источники](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
-

И. М. Каренин
Вольтер. Его жизнь и литературная
деятельность

*Биографический очерк И. М. Каренина
С портретом Вольтера, гравированным в
Петербурге К. Адтом*



Глава I

Детство и молодость Вольтера. – Бастилия и первые литературные успехи. – «Генриада».

Франсуа-Мари Аруэ, будущий Вольтер, родился в образованной и зажиточной буржуазной семье, достигшей этого положения медленно и постепенно усилиями нескольких поколений. В XVI веке предки Аруэ были еще простыми кожевниками в Пуату; в первой половине XVII века дед Вольтера оказался уже крупным торговцем сукнами в Париже. Он дал сыну солидное образование и в 1666 году ликвидировал свои дела. Из рядов промышленной и торговой буржуазии семья Аруэ перешла в ряды служащей буржуазии, чиновников и легистов, близко соприкасавшейся с дворянством. Сын торговца сукнами сделался нотариусом, а впоследствии приобрел должность в государственном казначействе. Он женился на дворянке, не отличавшейся скромными домашними добродетелями старой буржуазии, но сумевшей сделать дом нотариуса приятным для его знатных клиентов. Он вел дело Сен-Симонов, Сюлли, Комартэнов и пользовался их благосклонностью. Герцог Ришелье крестил его старшего сына. Меньшему, будущему писателю, родившемуся в ноябре 1694 года, судьба послала в крестные отцы аббата Шатонёфа, оказавшего значительное влияние на его воспитание.

Веселый, светский аббат, не имевший с религией ничего общего, кроме получения доходов, был старым знакомым жены нотариуса и другом его дома. Он заинтересовался своим бойким крестником и занялся по-своему его духовным воспитанием. Еще совсем маленьким он заставлял его заучивать «Моизиаду», модное в то время скептическое произведение некоего Лурде. Можно с уверенностью сказать, что ребенок раньше ознакомился с нападками на религию, чем с ее учением. Еще до поступления в училище мальчик преследовал своего старшего брата эпиграммами на его благочестие. Лет 10—12-ти он уже представлял собою миниатюрного «вольнодумца», и Шатонёф был не прочь похвастаться своим воспитанником перед знакомыми. Он возил его к своей старой приятельнице Нинон де Ланкло, мирно заканчивавшей в это время свою бурную жизнь, пользуясь общей симпатией оппозиционно настроенного общества. Мальчик, никогда не отличавшийся застенчивостью, продекламировал ей «Моизиаду», успел выказать свои блестящие способности и так понравился умной старухе, что она оставила ему по

завещанию две тысячи франков на книги. Вольтеру было семь лет, когда умерла его мать. Десяти лет отец отдал его в коллеж Луи-ле-Гран, где под руководством иезуитов воспитывались дети аристократов. Воспитанники, принадлежавшие к наиболее знатным родам, жили там на особом положении: каждый имел отдельную комнату, особого воспитателя и собственного лакея для услуг его маленькой особе. Остальные воспитанники довольствовались одной комнатой и одним воспитателем на пятерых. Вольтер не пользовался, конечно, никакими привилегиями, но это не могло задевать его самолюбия, – он отличался в другом отношении. Благодаря своим способностям, а в особенности умению писать стихи, юный школьник очень скоро сделался маленькой знаменитостью коллежа. Он писал рифмованные строчки и на заданные темы, и для собственного удовольствия, а лет двенадцати уже переводил стихами Анакреона и написал трагедию. Об одном стихотворении юного автора заговорили даже в Париже и Версале. Это было прошение в стихах, написанное им для старого инвалида, желавшего получить от дофина денежное вспомоществование.

Вольтер и в коллеже не только не уронил своей репутации вольнодумца, а напротив, приумножил ее, и его вольнодумные выходки были, по-видимому, известны самим воспитателям. По крайней мере, первый биограф Вольтера, Кондорсэ, а за ним и другие приводят слова отца Лежэ, предсказывавшего своему воспитаннику, что он «сделается главою французских деистов». Нельзя не заметить, что подобное предсказание могло скорее поощрить, чем испугать такого ребенка, про которого другой его воспитатель, отец Паллу, говорил, что он «пожираем жаждой славы». Несмотря на все это, Вольтеру недурно жилось у отцов-иезуитов; они поощряли его поэтический талант, и с некоторыми из них у него навсегда остались добрые отношения. Учился он вообще прекрасно и на экзаменах получал первые награды. Много прочных дружеских связей завязалось у него и со школьными товарищами. Вместе с ним учились и остались его приятелями братья д'Аржансон, которые оба были впоследствии министрами. Близкие отношения сохранились у него и с Сидевилем, ставшим потом парламентским советником в Руане; но самым близким, самым дорогим другом всей его жизни остался граф д'Аржанталь, «ангел-хранитель», как называл его Вольтер за неусыпную заботливость, с которой тот всегда относился к интересам своего беспокойного друга.

Шестнадцати лет Вольтер окончил курс и снова попал под преобладающее влияние Шатонёфа. Юноша испытал уже нечто вроде авторской славы, был уверен в своем поэтическом даровании и твердо

решил посвятить себя литературе. Отец его считал такое занятие равным полнейшему безделью и верным средством умереть с голоду. Он определил сына в школу правоведения, но варварский жаргон старых французских законов оскорблял литературный вкус Вольтера и внушил ему полнейшее отвращение к выбранной для него отцом карьере. Он совсем не занимался и проводил все время в обществе, в которое ввел его аббат Шатонёф.

Это было избранное светское общество, отличавшееся оппозиционным духом особого рода. К нему принадлежало немало титулованных особ: герцоги Сюлли, принц Конти, маркиз де ла Фар, а главою общества считался герцог Вандом, попавший, впрочем, в ссылку ко времени первого вступления в свет Вольтера. У этого общества была своя определенная окраска, делавшая его неприятным королю. Полнейший скептицизм его членов в области религии и нравственности, насмешки над ханжеством, господствовавшим тогда при дворе, вызывали неудовольствие Людовика XIV. В большей или меньшей степени, все это были «фанфароны порока», как называл старый король будущего регента. В этом-то обществе и зародился тот дух, те нравы, которые стали известны впоследствии под именем «нравов времен регентства». Особую пикантность придавало вольнодумству этого общества то обстоятельство, что большинство его членов принадлежало, подобно Шатонёфу, к духовенству.

Только что появившийся тогда словарь Бэйля, который, опираясь на учение самой церкви, доказывал полное противоречие между разумом и религиозными догматами и, решая, по-видимому, спор в пользу догматов, предоставлял самим читателям выводить противоположное заключение, – пользовался большим успехом у людей, среди которых вращался Вольтер. Но мы ошиблись бы, если б предположили в них вражду к религии, малейшее желание разрушать ее, распространять свои взгляды. Эти остроумные, образованные язычники не задавались никакими общими целями. Наслаждение признавалось ими единственной целью жизни. Единственным требованием, которое они себе ставили, их единственным правилом было: всегда сохранять хорошее расположение духа и шуткой встречать всякое несчастье.

В такую-то компанию попал Вольтер. Его живость, остроумие, дар писать стихи снискали ему всеобщее благоволение. Многие из членов этого общества были знатоками и любителями литературы и сами пописывали куплеты – по большей части игривого свойства во славу вина и женщин и в посмеяние напускной нравственности старого двора и особенно духовников придворных дам. Вольтер быстро вошел в тон своих по большей части пожилых собутыльников и не отставал от других, стараясь

за развязностью выражений заставить забыть, что он еще почти ребенок. Не ровней был он этому обществу и в другом отношении. Он – буржуа среди дворян, а такое смешение сословий было еще новостью в конце царствования Людовика XIV. Но Вольтер этого нимало не чувствовал и тотчас поставил себя со всеми на равную ногу с той самоуверенностью, которая никогда не покидала его, с какими бы высокими особами ни сталкивала его судьба.

Не заглядывая в школу, мало бывая дома и проводя почти все время то у Сюлли, то в других аристократических домах, Вольтер был совершенно доволен своей судьбой; но зато отец был очень недоволен его бездельем и образом жизни. Чтобы вырвать сына из светского общества, он придумал послать его в Гаагу к французскому посланнику в Голландии маркизу Шатонёфу, брату тогда уже умершего аббата. Но это насильственное удаление из Парижа было непродолжительным. Скоро – и опять против собственной воли – Вольтер был возвращен к отцу. В дело замешалась любовь к одной соотечественнице, Олимпии Дюнуайе, быстро окончившаяся, по просьбе матери его возлюбленной, высылкой влюбленного поэта из Гааги. Первое время Вольтер ведет из Парижа тайную переписку с Олимпией Дюнуайе и строит всякие планы; но сама барышня, бывшая и старше, и опытнее его, скоро утешилась с другим, а потом вышла замуж. Встретивши ее несколько лет спустя в затруднительном положении, Вольтер отнесся к ней самым дружеским образом и помогал, чем мог. Вернувшись в Париж, он повел прежний образ жизни, но отец окончательно вышел из себя, прогнал сына из дому и замыслил против него самые строгие меры. Чтобы умиловить отца, Вольтеру пришлось победить свое отвращение к судебному жаргону и посвящать ежедневно по несколько часов практическим занятиям у прокурора, к которому поместил его старый Аруэ. Избавил его от этих несносных занятий знакомый их семьи, интендант финансов Комартэн, принадлежавший к деловой чиновничьей аристократии и потому пользовавшийся большим уважением бывшего нотариуса. Комартэн уговорил старого Аруэ отпустить сына погостить к нему в замок Сентанж, где вдали от влияния светского общества юноша обдумает на досуге выбор карьеры. Но Вольтер уже выбрал свою карьеру, и общество Комартэна только усилило его решимость. Старик Комартэн, прошедший всю жизнь среди выдающихся людей двора Людовика XIV, знал множество анекдотов из жизни этого двора, множество закулисных подробностей различных событий, о которых непосвященная публика могла строить лишь догадки. Его сведения не ограничивались при этом современными ему событиями.

Он относился с горячим энтузиазмом к Генриху IV и мог многое порассказать об этом короле, личность которого была заслонена от глаз последних поколений пышной фигурой Людовика XIV. Старый хозяин любил рассказывать, а Вольтер жадно слушал и расспрашивал. Он скоро заразился энтузиазмом Комартэна по отношению к Генриху IV и заразил им впоследствии всех своих современников. В творце Нантского эдикта все нравилось людям XVIII века, начиная с его человеколюбия и религиозной терпимости, граничившей с индифферентизмом, до веселой распущенности нравов, свойственной также и людям этого века.

Здесь, в Сентанже, задумал Вольтер «Генриаду» и, заинтересовавшись вообще историей, начал собирать материалы для своего «Века Людовика XIV».

В сентябре 1715 года старый король умер, и общество, в котором снова вращался вернувшийся в Париж Вольтер, тотчас же умножилось всеми теми людьми, которых вырвала из него благочестивая подозрительность Людовика XIV. Возвратился из изгнания герцог Вандом; был выпущен из Венсенского замка посаженный в него за остроумную выходку аббат Сервиен. Когда последний отправлялся в свое невольное уединение, Вольтер напутствовал его стихотворением, в котором называл веселого аббата «законодателем сладострастья», «повелителем граций и смеха», разделяющим господство с одним только Филиппом Орлеанским. Теперь этот второй «законодатель сладострастья», получивши регентство, стал законодателем также и Франции.

Весело отпраздновавши смерть старого короля, парижане принялись сочинять стихи как против него, так и против регента. «Фанфаронство порока» на высоте трона представляло соблазнительную тему. Сочинил и Вольтер несколько таких куплетов, за которые еще недавно он мог бы попасть в железную клетку. Равнодушный ко всему регент ограничился высылкой поэта из Парижа.

Это первое изгнание было для Вольтера одним сплошным праздником. Он провел его в замке Сюлли, где собралось многочисленное общество, занятое исключительно устройством всевозможных увеселений, от которых Вольтер отрывался лишь для сочинения посланий к знакомым дамам. Там же, по совету приятелей, он написал послание и к герцогу Орлеанскому, которое заканчивалось просьбою лишь прочесть предлагаемые стихи, чтобы убедиться через сравнение, что их автор не может быть сочинителем отвратительных куплетов, которые ему приписывают. Этой тактики Вольтер будет придерживаться всю жизнь. Никогда не подписывая произведений, могущих навлечь неприятности, он при малейшей

опасности будет кричать о клевете, бранить на чем свет стоит несчастное произведение, которое ему приписывают, выражать величайшее презрение к его автору и горько жаловаться на злую несправедливость людей, предполагающих, что он может писать такие жалкие вещи. Неизвестно, поверил ли регент невинности Вольтера, но он позволил ему вернуться в Париж и даже дал аудиенцию. Но мир оказался непродолжительным. Впоследствии, когда регент давно умер и льстить ему не было никакой надобности, Вольтер отзывался о нем очень хорошо. В «Истории века Людовика XIV» он говорит, что из потомков Генриха IV регент больше всех походил на этого короля и характером, и даже лицом, но был при этом образованнее и красивее Генриха IV. Автор видит в Филиппе Орлеанском только два недостатка: любовь ко всякой новизне и к удовольствиям, но ни то, ни другое не было большим грехом в глазах Вольтера. Так думал он впоследствии, но в 20 лет у него было неудержимое стремление оскорблять этого самого регента. Оскорбительные куплеты, за которые он был выслан в 1716 году, написаны в шутовском тоне. Весной 1717 года в Париже обращалось среди публики уже маленькое латинское стихотворение, где в сжатых отрывочных фразах перечислялись бедствия Франции под управлением отравителя и кровосмесителя (молва возводила на герцога эти преступления) и предрекалась ее неизбежная гибель. Такое произведение не могло не вывести из терпения даже и регента. Вольтер имел осторожность пустить в обращение эти опасные строчки во время своего отсутствия в Париже. Но авторское самолюбие оказалось сильнее осторожности. Едва вернувшись от Комартэна, у которого он опять гостил, Вольтер натолкнулся на шпиона, офицера Борегара, притворявшегося его приятелем. В виде новости тот сообщает ему о ходящих по рукам латинских строчках. «Нравятся ли они публике?» – интересуется Вольтер. «Их находят очень умными и приписывают иезуитам», – отвечает собеседник. «Иезуиты рядятся в чужие перья», – возражает Вольтер и сообщает шпиону о своем авторстве. Борегар притворяется, будто не верит: в 28 лет не пишут таких прекрасных вещей. Вольтер горячится и старательно доказывает, что пишут. Посаженный через несколько дней в Бастилию, он при допросах находит в руках начальства подробное изложение всего разговора.

Вольтер просидел в Бастилии 11 месяцев. Он усердно работал в своем уединении: окончил трагедию «Эдип», которую набросал уже более трех лет тому назад, и начал «Генриаду», описал также свой арест и тюремную жизнь в шутовской маленькой поэме «Бастилия» и вообще нимало не унывал, хотя, кроме потери свободы, было у него в это время и другое горе.

У Сюлли он познакомился с одной девушкой, госпожой Ливри. Она играла в домашнем театре Сюлли и была без ума от сцены. Вольтер, уже считавшийся знатоком в этом деле, поправлял ее игру, учил декламации. Учитель и ученица влюбились друг в друга и поклялись любить вечно. Но когда Бастилия разлучила влюбленных, место отсутствующего занял в сердце г-жи Ливри ближайший друг Вольтера и поверенный всех его тайн, молодой де Женонвиль. Этой двойной измене в поэме «Бастилия» посвящена следующая строчка: «Все изменили ему, даже и возлюбленная». Но одной этой меланхолической строчкой и ограничились все жалобы. Выйдя на свободу, Вольтер не упрекает изменников, даже не сердится на них, продолжает заботиться о театральных успехах г-жи Ливри и остается преданным другом Женонвиля до самой смерти этого последнего. Так же поступит Вольтер и 30 лет спустя при разрыве другой, долгой, несравненно более серьезной связи.

В этой способности почти тотчас же искренно прощать измену и оставаться другом как изменившей женщины, так и своего счастливого соперника, главная роль принадлежит, конечно, личному свойству Вольтера, в жизни которого дружба всегда имела гораздо больше значения, чем любовь к женщине. Но некоторую роль играли при этом также нравы и взгляды того высшего общества, в котором почти с детства вращался Вольтер. В этой среде любовь не давала никаких прав, не налагала никаких обязанностей, а ревность считалась смешной и постыдной.

Через шесть месяцев по выходе Вольтера из Бастилии, в ноябре 1718 года, была поставлена на сцене его первая трагедия «Эдип». До тех пор поэтический талант молодого автора был известен лишь по мелким стихотворениям, принимавшим чаще всего форму посланий к друзьям и знакомым. Такой род поэзии был вообще в моде среди высшего общества того времени, и даже принц Конти удостоил самого Вольтера посланием, в котором восхвалял его «Эдипа». Трагедия действительно имела огромный успех, и уже раздавались голоса, объявлявшие ее автора преемником Корнеля и Расина.

На отпечатанных экземплярах «Эдипа» в первый раз встречается подпись «Вольтер». Отцовская фамилия не нравилась молодому писателю, но откуда взял он имя «Вольтер», осталось невыясненным. Предполагали, что это название фермы, принадлежавшей его матери. Несмотря, однако, на все позднейшие исследования, такой фермы найдено не было.

Регент пожаловал автору «Эдипа» значительную денежную награду, но в следующем же году опять заподозрил в нем – и на этот раз действительно несправедливо – автора распространяемой против него сатиры. Пока не

открылась ошибка, Вольтеру пришлось опять повеселиться вне Парижа, переезжая в новых лучах своей авторской славы из одного замка в другой. Так же весело и разнообразно то в Париже, то в окрестных замках провел он и следующие годы.

В 1722 году умер отец Вольтера. Они редко виделись в последние годы. Старик Аруэ присутствовал, говорят, на представлении «Эдипа», но и громкий успех трагедии не примирил его с избранной сыном карьерой.

В том же году Вольтер предпринял небольшое путешествие в Голландию, куда сопровождал одну из своих светских знакомых, г-жу Рюпельмонд.

Для этой же дамы, обратившейся к своему спутнику за разрешением – или, вернее, за подтверждением – своих религиозных сомнений, Вольтер написал в стихах «Послание к Урании, или За и против». В этом первом антирелигиозном произведении Вольтера, напечатанном лишь десять лет спустя, уже сказывается во всей силе отрицательное отношение автора к догматам католической церкви, но по серьезной горячности тона оно отличается от большинства его позднейших произведений этого рода. «Я хочу любить Бога, – говорит Вольтер в „Послании к Урании“, – я ищу в нем отца, а мне показывают тирана». Главнейшим актом этой тирании является в его глазах осуждение на адские муки всех бесчисленных последователей других религий, всех миллионов людей далеких стран и прошлых поколений. В заглавии он обещает говорить и «за», и «против», но несколько строчек, посвященных защите учения церкви, тонут у него в страстных обвинениях.

В Брюсселе, по пути в Голландию, Вольтер посетил проживавшего там Жана-Батиста Руссо, к таланту которого он относился с большой симпатией. После очень любезной встречи авторы прочли друг другу некоторые из своих неизданных произведений и тем положили прочное основание очень деятельной литературной войне. Начал печатные нападки Ж. – Б. Руссо. Вольтер всегда утверждал, что он ни на кого и никогда не нападал, пока не затрагивали его или его друзей. Действительно, в своих многочисленных литературных распрях он никогда не был зачинщиком, но зато, раз вызванный на борьбу, никогда не оставался в долгу, а по большей части платил сторицею, язвя противников в стихах и в прозе, в специально посвященных им памфлетах и мимоходом в произведениях, трактующих о совсем других предметах. Причину враждебности Ж. – Б. Руссо к Вольтеру оба автора объясняют различно. Вольтер думает, что Руссо не мог простить ему остроты, вырвавшейся у него после «Оды к потомству», прочитанной ему автором. «Не дойдет она по адресу», – заметил слушатель. Ж. – Б.

Руссо, со своей стороны, ссылается на нечестивое «Послание к Урании», сообщенное ему Вольтером и возмутившее его религиозное чувство. Когда-то вольнодумный составитель эпиграмм, Руссо действительно начал около этого времени настраивать свою лиру на религиозный тон.

В 1724 году появилась поэма Вольтера о Генрихе IV, которая в первом издании называлась «О лиге». Напечатана она была тайно и, по уверению Вольтера, без его ведома, с многочисленными пропусками и ошибками. Но как ни плохо было издание и как ни горько жаловался на него Вольтер, оно тем не менее сильно подняло его славу. Эпос вообще считался в то время высшим родом поэзии. Эпическая поэма казалась даже необходимой для славы нации, и самолюбие французов давно страдало от отсутствия у них таковой. Автор, давший наконец Франции ее поэму, не мог не подняться очень высоко в глазах соотечественников. Теперь это произведение кажется нам скучным, холодным, совсем не поэтическим. Но XVIII век, имевший очень мало чутья к чистой поэзии, век «просвещения», умственной борьбы и пропаганды по преимуществу, высоко ценил свою поэму. Горячий поклонник Вольтера, Кондорсэ в своей «Жизни Вольтера», изданной в 1789 году, соглашается, что некоторые из эпических поэм, считающихся великими, превосходят «Генриаду» разнообразием действия и интересом событий, но ее недостатки в этом отношении с избытком вознаграждаются в другом. Ни одна поэма, говорит он, не включает в себе такой «глубокой философии», такой «чистой морали», ни одна не отличается такой «свободой от предрассудков»... «Из всех эпических поэм одна „Генриада“ имеет нравственную цель... потому что она дышит ненавистью к войне и фанатизму, терпимостью и любовью к человечеству». Вот чем восхищается в «Генриаде» человек XVIII века. Он ценит ее, главным образом, как орудие пропаганды, которому форма эпической поэмы придает особенную силу. Уже то одно имело политическое значение, что героем поэмы был творец Нантского эдикта в то время, когда отмена этого эдикта оставалась еще зияющей раной в государственном организме Франции; когда галеры были полны пасторами-гугенотами, тайком пробравшимися во Францию и уличенными в совершении богослужения; когда браки гугенотов не признавались законными и их дети не имели гражданских прав. «Генриада» при таких обстоятельствах была действительно проповедью человеколюбия и терпимости.

Глава II

Столкновение с де Роганом. – Опять Бастилия и изгнание. – Влияние Англии на Вольтера. – «Английские письма».

В 30 лет Вольтер достиг, по-видимому, блестящего положения. Как по собственному мнению, так и по мнению значительной части публики, он стоял уже во главе современной французской литературы, причем вращался в самом высшем обществе и, считая своими друзьями титулованных особ, являлся своим человеком в их салонах. Не всем, однако, нравилось его положение в этих салонах. Не нравилось оно любимцам молодого короля, не нравилось недавно приставшему к их кругу кавалеру де Рогану. Кастовая исключительность дворянства была уже настолько расшатана, что позволяла принимать в свое общество поэтов-недворян. С ними обращались как с равными. Светская любезность, светские нравы требовали этого относительно каждого гостя. Но в глубине души их не считали равными.

К тому же Вольтер нимало не подходил к типу скромного поэта, чувствующего милость высоких меценатов. Не то чтобы он был дерзок или заносчив, – он в совершенстве усвоил утонченные манеры того общества, в котором вращался. Но вполне искренно он чувствовал себя не только равным, но высшим существом в каждом обществе, в которое попадал. По своей живости, находчивости, остроумию он не мог оставаться в тени, всюду занимал первое место и слишком часто, по мнению де Рогана и подобных ему людей, ничем не отличавшихся, кроме титулов, приковывал к себе всеобщее внимание. Де Роган решил выбросить его из этого общества. Он начал придирается к Вольтеру и искать с ним ссоры. Быстрый на ответы Вольтер не оставался в долгу. Не находя ничего более остроумного, де Роган пробовал потешаться над именем Вольтера, намекая на его слишком скромное происхождение. «Я не волочу за собою великого имени, – парирует Вольтер, – но делаю честь тому, которое ношу». При одном из столкновений в театральном фойе Роган поднимает трость. Госпожа Лекуврёр, знаменитая актриса и приятельница Вольтера, весьма кстати падает в обморок и тем прекращает ссору. Поразыслившись на досуге, Роган нашел, вероятно, что лакейскими руками гораздо удобнее драться, чем собственными. Такие расправы не были в то время чем-нибудь слишком исключительным в отношениях дворян с писателями.

В конце декабря 1725 года – через несколько дней после ссоры в

театре – Вольтер обедал у Сюлли, когда его вызвали под каким-то предлогом на крыльцо. Ничего не подозревая, он вышел, как был, с салфеткой в руке. Четыре лакея кавалера де Рогана тотчас же набросились на него. Одни держали, другие били, а сам де Роган командовал экзекуцией, сидя в карете. Он же и приказал прекратить ее. Вольтер бросается назад к Сюлли. Десять лет он считает герцогов своими друзьями; десять лет он свой человек в их доме. К тому же оскорбление нанесено гостю Сюлли на пороге его дома. Вольтер уверен в солидарности с собой хозяина и приглашает его отправиться вместе к комиссару заявить о произведенном разбое. Сюлли наотрез отказывается принять какое бы то ни было участие в неприятной истории. С этих пор Вольтер уже никогда не встречался с Сюлли. Он бросил всякую мысль о судебном преследовании. Оставалась одна дуэль. Но и в этом деле он не мог надеяться на помощь и сочувствие своих великосветских знакомых. Они действительно не нашли в поступке Рогана ничего особенно предосудительного и за глаза подшучивали над его жертвой. «Удары были плохо даны, но хорошо приняты», – заметил принц Конти, тот самый, который воспевал Вольтера в стихах. Аббат Комартэн, родственник старого Комартэна, у которого не раз гостил Вольтер, находил даже, что дворяне были бы очень несчастны, «если бы у поэтов не было плечей для палок».

Не только светские знакомые, даже искренние друзья Вольтера были невысокого мнения о его храбрости. Вот как выражается в своих мемуарах маркиз д'Аржансон, школьный товарищ и неизменный приятель Вольтера: «Давно уже замечена разница между умственной и физической смелостью. Они редко соединяются. Вольтер может служить примером. Его душа полна мужества, достойного Тюрена. Он смотрит с высоты, он предприимчив, ничто не может смутить его; но его пугает малейшая опасность, грозящая его телу».

Вольтер действительно не храбрец, он очень мнителен относительно своего здоровья и говорит о близости смерти при всякой болезни. Он, правда, всю жизнь постоянно рискует попасть в тюрьму за свои произведения, но зато и отрекается от них, и кричит о клевете, и старается оградить себя. Но, хотя он и не храбрец, – как все нервные, впечатлительные люди, особенно под действием такого оскорбления, способны становиться на время храбрецами, – вопреки ожиданиям своих знакомых, он упорно и страстно добивается удовлетворения. В пользу Вольтера свидетельствует в данном случае полиция. Она, в угоду семье Роганов, неотступно следила за ним со дня побоев и доносила о каждом его шаге. Эти донесения, неизвестные современникам, защищают честь

Вольтера перед потомством.

Из всех прежних знакомых оскорбленный писатель сохранил в это время отношения с одним Тирио. Это человек из другого мира, бедный клерк, с которым Вольтер сошелся во время своих занятий у прокурора. Тирио – пустой человек, но он не был связан сложными светскими отношениями и остался верен Вольтеру в эти самые тяжелые дни его жизни. И Вольтер никогда не забудет об этом. Ленивый и беспутный жуир, Тирио будет часто ставить его впоследствии в затруднительные положения, будет даже злоупотреблять его доверием, но Вольтер все простит ему и всегда будет о нем заботиться.

Скрывшись из салонов, Вольтер повел какое-то лихорадочное существование. Он беспрестанно менял квартиры, сошелся с бретерами самого низшего сорта и с жаром учился фехтованию. Фехтование и выслеживание Рогана наполняли все его время, но враг избегал встреч. Проходила неделя за неделей, а Вольтер, по донесениям полиции, не только не успокаивался, но его бешенство росло с каждым днем. Ему удалось наконец встретить своего врага в театре и сделать ему вызов. Тирио играл роль секунданта. Роган тотчас же согласился на дуэль и сам назначил встречу на завтрашнее утро; но еще с вечера он известил об этом вызове своих родных. Те подняли хлопоты и добились немедленного заключения Вольтера в Бастилию.

Время своего пребывания в крепости арестант употребил на изучение английского языка. Он предвидел, что так или иначе ему придется оставить Францию; об этом заботились Роганы. Действительно, в мае 1726 года вместе с освобождением из Бастилии ему был объявлен приказ о высылке его из Франции. Доехав до Кале в сопровождении полицейского, он перебрался через пролив, но почти немедленно вернулся тайком в Париж и прожил здесь некоторое время, скрываясь как от полиции, так и от знакомых, убедившись, однако, в бесплодности дальнейших попыток добиться удовлетворения, Вольтер вернулся в Англию и постарался выбросить из головы бесплодные воспоминания о пережитых оскорблениях.

Это было тем легче, что Англия встретила его приветливо. У него был там знакомый, почти друг, лорд Болинброк, материалист и деист, соединявший, по словам Вольтера, английскую ученость с утонченностью французского дворянина. Вынужденный в начале царствования Георга I оставить Англию, Болинброк прожил несколько лет во Франции и здесь познакомился с Вольтером, который не раз гостил в его прекрасном замке Ласурс и посвятил ему свою, тогда еще не напечатанную, «Генриаду».

Вернувшийся в 1723 году в отечество, благородный лорд дружески принял ставшего в свою очередь изгнанником Вольтера и ввел его в круг своих знакомых. В Англии этого времени все поражало и восхищало Вольтера, все было противоположно тому, что он видел на родине. В особенности резко бросалась в глаза ему – вольнодумцу и писателю – разница в положении религии и науки в двух соседних государствах. Во Франции признавалась одна католическая религия, не допускавшая никаких сект, ни малейшего разномыслия, готовая преследовать даже янсенистское учение о предопределении, разделявшееся многими отцами церкви, но не нравившееся иезуитам. В отечестве Вольтера религия еще сохранила свойственный католицизму притязание заключать в себе всю человеческую мудрость и держать все науки за прислужниц теологии, хотя и была уже вынуждена неудержимым ростом светских наук ко многим молчаливым уступкам. В Англии, наоборот, «всякий, – по выражению Вольтера в его „Английских письмах“, – имеет право идти в царствие небесное тем путем, который ему нравится». Английская церковь распадается, по вычислению автора тех же «Писем», на тридцать сект, начиная с господствующей в Англии и Ирландии епископальной, сохранившей большую часть догматов и обрядов католичества, до квакеров, не имеющих никакого духовенства и не признающих никаких таинств. Большинство проповедников этих сект ненавидят друг друга, по словам Вольтера, «так же искренно, как иезуиты с янсенистами»; пресвитериане называют епископальную церковь не иначе как «вавилонской блудницей»; эта последняя очень бы не прочь преследовать все другие секты, но закон позволяет их существование, светская власть не является к услугам духовной, и секты живут мирно как между собою, так и с наукой, свободно решающей все вопросы, за исследование которых преследуют во Франции.

В особенности поражала Вольтера свобода исследования Священного Писания. По приезде в Англию он застал еще во всем разгаре полемику, поднятую книгой Коллинза «Об основах христианства». В то же время выходили одна за другой брошюры Вульстона. Эти книги выдержали в самое короткое время по несколько изданий, вызвали массу возражений, перешедших в ожесточенную полемику, но дело обошлось без всякого вмешательства светской власти.

Эта свобода была, правда, безгранична, и если можно было безнаказанно отрицать чудеса, то нельзя было утверждать без серьезных неприятностей необходимость возвращения Англии в лоно католической церкви. Даже Локк в своем трактате о терпимости не требует ее

применения к католикам и атеистам. Но атеистов, по мнению Вольтера, было гораздо меньше в Англии, чем во Франции. Он приписывал это различие распространению в первой стране философии Ньютона, «доказавшего существование Бога мудрецам».

Пребывание в Англии имело решающее влияние на всю дальнейшую писательскую деятельность Вольтера. Здесь сложилось в общих чертах все его миросозерцание, лишь в некоторых частностях изменявшееся потом в течение его долгой и деятельной жизни. Все его последующие философские произведения являются лишь приукрашенными к надобностям пропаганды комбинациями и видоизменениями идей, взятых им у его английских учителей. Открытие Ньютона он в общих чертах изложил уже в «Английских письмах», а затем популяризировал его философию в отдельном произведении. Огромное влияние на него имел также Локк своим учением о человеческом познании. Из всего содержания своих «Английских писем» Вольтер, по его собственному признанию, всего больше дорожил именно этим «учением о душе», как он называл теорию Локка. До тех пор «резонеры» писали, по его мнению, лишь «романы души», Локк первый «скромно изложил ее историю. Он раскрывает человеку его разум так, как хороший анатом объясняет строение органов человеческого тела». Опровергнув теорию врожденных идей, доказав, что все наши идеи вытекают из деятельности наших чувств, проследив разум во всех его более и более сложных операциях, Локк, говорит Вольтер, «скромно заканчивает предположением, что, быть может, мы никогда не будем в состоянии знать, способно ли чисто материальное существо мыслить или нет». Вольтер оказывается в этом случае решительнее своего учителя. Относительно познания всех первых причин мы должны, как учит скромный Локк, признать свое бессилие и прибегнуть к Богу. Предвидя гонение именно на эту часть своих «Писем», Вольтер заранее переходит в нападение: «Безбожна не теория Локка, а те, кто ограничивает всемогущество Творца, утверждая, что Бог не мог даровать мысли материи».

Здесь же, в Англии, выковал Вольтер свое оружие для позднейшей борьбы с католицизмом. Верующим сыном церкви не был он и раньше, но лишь из творений английских рационалистов познакомился с систематической критикой Священного Писания и церковных догматов.

Обратили на себя внимание Вольтера и политические учреждения Англии, но его отношение к этим учреждениям всегда оставалось двойственным. Его восхищали религиозная терпимость и политическая свобода приютившей его страны, но для него не всегда была ясна полная

зависимость этой свободы от формы правления Англии. Он колеблется в своих симпатиях между партиями тори, стремившихся к усилению королевской власти, и вигов с их республиканскими тенденциями. Вначале он склоняется на сторону последних. Это отражается даже на вывезенных им из Англии трагедиях «Брут» и «Смерть Цезаря». В «Английских письмах» он относится с симпатией или, по крайней мере, с полнейшим беспристрастием к английской революции и парламенту. «Англичане, – говорит он, – любят сравнивать себя с древними римлянами, но совершенно напрасно. Ни в дурном, ни в хорошем они на них не похожи. Римляне не знали религиозных войн. Англичане же усердно вешали друг друга и истребляли в правильных сражениях из-за вопросов этого рода... Другое существенное различие между Римом и Англией целиком в пользу последней: плодом гражданских войн в Риме было рабство, а английские волнения привели к свободе». Но в позднейших произведениях Вольтера мы уже не встречаем такого благосклонного отношения к английской революции и не раз наталкиваемся на противоположные отзывы. И это совершенно понятно. Признав за английскими революционерами какую-нибудь существенную заслугу пред человечеством, Вольтер впадал в противоречие с одним из основных положений своего мирозерцания. Прогресс человечества заключался, по его мнению, почти исключительно в успехах разума, философии, искусств и в ослаблении суеверий. Оказывать услуги человечеству могли, по его мнению, лишь люди просвещенные. Борцы же, волновавшиеся, как ему казалось, из-за вещей аналогичных с вопросом о корме для священных кур, совсем не занимались науками. Кроме Мильтона в рядах республиканцев не было замечательных поэтов. К ним не принадлежал ни один из великих философов Англии. «Во времена Кромвеля, – говорит Вольтер в своем „Опыте о нравах“, напечатанном лишь в пятидесятых, но написанном в тридцатых годах, – место всякой науки и литературы занимало подыскивание текстов из Старого и Нового Заветов и применение их к политическим распрям и самым жестоким революциям». Науки и искусства были восстановлены реставрацией. С царствованием Карла II совпал высший расцвет английской материалистической философии и быстрое развитие точных наук. Вольтерство, неверие было в моде при дворе этого короля и тогда-то именно стало ненавистным английской буржуазии, связавшись в ее воспоминании с веселыми французскими нравами, склонностью к католицизму и с урезыванием прав парламента. Нечто аналогичное случилось и с Вольтером. Уничтожение «суеверия» и рост философии тоже связались в его уме с идеей реставрации и вызвали в нем симпатию к

Стюартам, доходившую до живейшего сочувствия современным Вольтеру якобитским заговорам.

В этом же направлении действовали на Вольтера и его позднейшие связи и отношения: дружба с коронованными философами или желавшими слыть таковыми и вражда к французским парламентам, из которых парижский являлся самым деятельным врагом философских книг и писателей, а провинциальные возбуждали его ненависть безобразными юридическими убийствами. Правда, французские парламенты его времени имели очень мало общего с английскими, но тем не менее они являлись некоторым ограничением королевской власти, лишь мешавшим, по его мнению, необходимым реформам в области правосудия. «У меня недостаточно гибкая спина, – говорит он впоследствии по поводу парламентов, – я согласен сделать один поклон, но сотня поклонов сразу меня утомляет».

Его политическим идеалом осталось в конце концов неограниченное правление мудрого государя-философа, окруженного такими же мудрыми министрами.

Другая сторона английского строя, почетное положение, занимаемое там богатой торговой буржуазией, тоже произвела сильное впечатление на Вольтера. Заметив в своих «Английских письмах», что английские коммерсанты гордятся своим занятием и что младшие сыновья пэров ничуть не стыдятся участвовать в торговых операциях, Вольтер говорит, что во Франции каждый дворянин, ничего не имеющий, кроме громкой фамилии, может твердить: «Человек, как я!», «Люди моего звания», – и относиться с великолепным презрением к коммерсантам. Последние тоже имеют глупость сами себя стыдиться. «Я не знаю, однако, – заключает Вольтер, – кто полезнее государству: напудренный сеньор, знающий с точностью, в котором часу ложится и в котором встает король, или негоциант, который обогащает свою страну, посылает из своего кабинета приказы в Сурат и Каир и содействует счастью всего мира».

Сам Вольтер со времени своего английского изгнания принялся усиленно стремиться к обогащению, не пренебрегая для этого никакими денежными и торговыми спекуляциями. «Я встречал слишком много бедных и презираемых писателей, – говорит Вольтер в своих мемуарах, – и давно решил, что не должен увеличивать собою их числа».

Основание его будущему богатству положила сумма в две тысячи фунтов стерлингов, вырученная в Англии от подписки на новое издание его поэмы «О лиге», переименованной затем в «Генриаду». В подписке принимали участие сама королева и чуть ли не вся английская

аристократия. Вольтер сделал в этом новом издании некоторые изменения, из которых главнейшее заключалось в том, что Сюлли, игравший как в самой истории Генриха IV, так и в поэме значительную роль, был вычеркнут из нее при втором издании. Вольтер мстил этим единственным доступным ему способом вероломному приятелю, отрекшемуся от него в тяжелую минуту его жизни. Вопреки обычному ходу вещей, предок пострадал в этом случае за грехи своего потомка.

Возвратившись весной 1729 года во Францию, Вольтер, кроме «Английских писем» и двух трагедий, привез также из Англии свой первый исторический труд «Историю Карла XII». Он встретил в Англии одного из приближенных Карла и заинтересовался его рассказами о необычайных приключениях шведского короля. Эти-то рассказы и послужили главным материалом для блестящего произведения, соединяющего весь интерес романа со стремлением к исторической правдивости, поскольку она была возможна при односторонности доступных автору сведений. Рассказ имел значение первого опыта исторического произведения, написанного не для одних ученых и способного заинтересовать широкий круг читателей.

Даже это безобидное произведение пришлось напечатать без «дозволения». Отказ в разрешении издания был вызван дипломатическими соображениями. Предположили, будто польский король Август может обидеться тем, что блестящий соперник затмевает его на страницах истории так же, как затмевал в жизни.

Ровно через год по возвращении Вольтера из Лондона умерла любимица парижской публики, талантливая драматическая актриса г-жа Лекуврёр. При жизни актеры и в особенности актрисы занимали тогда во Франции очень видное и довольно независимое положение, но после смерти судьба их тела вполне зависела от духовенства. Наряду с колдунами, они считались отлученными от церкви и в качестве таковых могли, по желанию духовенства, быть признаны недостойными погребения. Средневековое правило гласило, что тела лишенных погребения выбрасываются на место, куда свозятся нечистоты; но на самом деле их просто зарывали без церковных обрядов в неосвященную землю. Так пришлось поступить и с телом г-жи Лекуврёр. Личный приятель покойной, Вольтер был взбешен таким оскорблением ее памяти и излил свои чувства в полных негодования стихах. Не одно духовенство упрекает он в них, а также слабых, легкомысленных французов, покорно несущих ярмо пред рассудков. Стихотворение выражало взгляды значительной части публики и было встречено с большим сочувствием. Духовенство, как и следовало ожидать, подняло хлопоты о преследовании автора, которому пришлось

скрываться на время, чтобы переждать бурю. Но едва успели рассеяться тучи этой бури, как над головой Вольтера разразилась новая беда. В печати появилось написанное им десять лет тому назад «Послание к Урании», о котором мы уже говорили выше. На этот раз против автора было, по требованию парижского архиепископа, поднято формальное судебное преследование, от которого он кое-как отделался, лишь свалив свой грех на покойного аббата Шольё. Выдумка была довольно правдоподобной: аббат писал стихи и был известен своим вольнодумством.

Такие непрерывные столкновения с властями делали положение Вольтера очень шатким. Он задумал упрочить его посредством блестящего театрального успеха. После «Эдипа» ни одна из его трагедий не вызывала восторга публики. Не особенно понравился и «Брут». Масса публики находила, что любовная интрига, считавшаяся главным делом в пьесе, была слишком холодна; люди же с более тонким вкусом утверждали, наоборот, что в эту трагедию вовсе не следовало вводить ненужной любви. Вольтер решил создать трагедию, весь сюжет которой построен на любви и ревности, и переделал во французском вкусе «Отелло» Шекспира. Успех «Заиры» – так назвал он трагедию – превзошел все ожидания. Публика проливали обильные слезы, что считалось лучшим при знаком достоинства трагедии.

Неугомонный автор быстро сумел, однако, заставить публику забыть благоприятное впечатление. Выпущенная им в 1733 году – опять без «дозволения» – книжечка носила заглавие «Храм вкуса» и рассказывала, наполовину в стихах, наполовину в прозе, о путешествии автора в этот храм, где «Критика» произносит свои приговоры над писателями, живыми и умершими. Это художественная оценка литературных произведений, часто меткая и остроумная, в то же время была строгой, но в большинстве случаев беспристрастной. Автор и себе самому делает от лица «Критики» несколько замечаний и дает ехидный совет: не забывать, что написал освистанную публикой трагедию «Артемира». Критика совсем не затрагивает чьих-то мнений. Автор заставляет даже, для наглядности, иезуита дружески разговаривать в «Храме вкуса» с янсенистом.

Хотя произведение было напечатано тайком, но на этот раз на автора обрушилось не правительство, а масса писателей и читателей. Одни сердились за замечания «Критики», другие – за то, что автор совсем не упомянул их, а следовательно, не заметил их присутствия в литературе. Читатели сердились за своих любимых авторов. Почти немедленно появилось несколько пародий на «Храм вкуса», написанных с единственной целью – выругать Вольтера. В одной комедии насоливший

всем критик выведен даже в виде шута.

Поставленная Вольтером в январе 1734 года новая трагедия «Аделаида Дюгесклен» была, по свидетельству современников, освистана публикой именно в отместку за «Храм вкуса». По крайней мере, возобновленная много лет спустя, она имела успех.

Все эти бури оканчивались более или менее благополучно, но с самого приезда из Англии Вольтер «готовил» для себя гораздо более серьезную опасность. Говоря об английских впечатлениях Вольтера, мы уже касались содержания «Английских писем». Они были давно написаны, но затруднения, встречаемые на каждом шагу при печатании самых невинных вещей, ясно показывали, что такого рода произведения нельзя обнародовать, не решившись заранее на арест или бегство. С другой стороны, Вольтер положительно не мог не поделиться с соотечественниками теми глубокими и сильными впечатлениями, которые оставили в нем английская жизнь и результаты английской мысли. Стараясь придать по возможности невинный вид своему произведению, он нарочно приписал квакерам, которым посвящены первые письма, побольше комических черт и даже читал самые смешные выдержки министру Флэри. Престарелый кардинал удостоил посмеяться, но Вольтер и сам отлично знал, что это еще ровно ничего не значит. «Письма» были отпечатаны тайком в Руане, где у автора был сообщник, его школьный товарищ Сидевиль, но все издание хранилось под замком, и ни один экземпляр не попадал пока к публике. Отзывы француза об англичанах могли, однако, заинтересовать также и англичан, поэтому Вольтер издал сперва английский перевод своих писем. Англичане остались, в общем, очень довольны произведением, хотя и отметили в нем несколько фактических неточностей. Но, кроме английских похвал, перевод принес Вольтеру также усиленный надзор в отечестве и формальное запрещение издавать «Письма» на родном языке. Голландские издатели, наживавшиеся от продажи запрещенных во Франции книг, тоже не дремали и оказались даже бдительнее французских властей. Самой маленькой неосторожности – отданного в переплет экземпляра – было достаточно, чтобы в Амстердаме появилась точная подделка руанского издания, начавшая быстро распространяться во Франции.

Парижский парламент осудил книгу как «скандальную, противную религии, добрым нравам и уважению к власти» на сожжение рукою палача у подножия большой лестницы здания парламента. Склад руанского издания был разыскан и конфискован; издатель посажен в Бастилию. Приказ о помещении туда же и самого автора был послан в Монж, где

Вольтер праздновал свадьбу своего приятеля герцога Ришелье. «Ангел-хранитель» Вольтера, д'Аржанталь, успел, однако, вовремя предупредить своего друга, и 10 июня 1734 года, когда «Английские письма» торжественно сжигались в Париже, Вольтер был уже за границей.

Во Франции того времени за книги преследовали авторов, издателей, продавцов, но не читателей. Главную массу читателей составляли еще высшие классы; большими охотницами до запрещенных книг были светские дамы, беспокоить которых никому не приходило в голову. Поэтому сожжение и преследование раздражали авторов, лишая их заработка и безопасности, обогащали голландских издателей, поднимая цену на их товар, но нимало не мешали, а скорее содействовали распространению произведений.

Не помешало сожжение и распространению «Английских писем» и их громадному влиянию на французское общество.

В конце XVII – начале XVIII века французы очень мало знали своих заморских соседей. Английский язык был почти никому не знаком. Некоторые ученые трактаты если и переводились, то читались только специалистами. «Английские письма», умышленно подчеркнувшие резкие противоположности между двумя нациями – и всегда в пользу англичан, – заинтересовали всех. Дамы принялись изучать английский язык; все сколько-нибудь выдающиеся люди спешили побывать за Ла-Маншем. Английская философия вытеснила постепенно когда-то будивший мысль, а теперь застывший картезианизм. Скептицизм Бойля, разрушавший верования, но не дававший ничего определенного, заменился под влиянием английского материализма законченной философской системой, перешедшей постепенно от деизма к открытому атеизму. Английская философская мысль «переделала» французскую, но «переделала» ее в нечто совершенно с собою несходное. Аристократический, придворный, непопулярный английский материализм превратился во Франции в разрушительную философию, ставшую катехизисом буржуазии в ее борьбе со старым порядком, – борьбе, поразительно аналогичной с предшествовавшей борьбой английской буржуазии, но уже не опиравшейся на пророков и на псалмы Давида.

Но до этой переработки английского деизма во французский атеизм, впоследствии сильно огорчавший Вольтера, оставшегося верным деизму, еще далеко.

Глава III

Маркиза Дю Шатле. – Сирей. – Оптимизм Вольтера. – Его увлечение естественными науками. – Трагедии. – Знакомство с Фридрихом II.

У скрывшегося в Лотарингию автора «Английских писем» в Париже остался недавно приобретенный, но горячо и страстно преданный ему друг, маркиза Дю Шатле, любовь к которой была в жизни Вольтера его единственной серьезной привязанностью к женщине.

После измены г-жи Ливри он был некоторое время увлечен любовью к жене маршала де Виллара. Знатная дама позволяла ему ухаживать за собою и изливать свои чувства в стихах, но и только. Особенно страдать от любви Вольтер никогда не был расположен и скоро вылез из этой неразделенной страсти. Но в женском обществе, в женской заботливости он всегда нуждался и время от времени устраивал себе нечто вроде домашнего очага у той или другой из знакомых дам. Одно время Вольтер был своим человеком в доме маркизы де Мимер, затем сблизился с президентшей де Бернье. Любовь далеко не всегда играла роль в этих сближениях. Ее не было и следа в его дружбе с графиней Фантен-Мартель, умной пожилой женщиной, в доме которой он жил по возвращении из Англии в те промежутки между бегствами, которые ему удавалось проводить в Париже.

Светская жизнь Вольтера по замкам и салонам французской знати не возобновилась более по возвращении на родину. С некоторыми из прежних своих знакомых он порвал навсегда, с другими встречался лишь изредка. Тем сильнее сблизился он с немногими оставшимися у него друзьями: д'Аржанталем, Сидевилем, а также с герцогом Ришелье и некоторыми другими.

В 1732 году Вольтер усиленно твердит о том, что пора любви для него уже прошла (ему 38 лет), остались только дружба да работа. Вместо любовных посланий он пишет теперь и передает г-же Мартель, с верхнего этажа на нижний, шуточные стихи, в которых, расхваливая свою хозяйку, говорит, что ему потому хорошо живется в ее доме, что с ним вместе живет здесь его единственная возлюбленная – свобода и ее сестра – веселость. В это время он встретился с Эмилией Дю Шатле.

Урожденная де Бретейль, она еще ребенком в доме отца видала Вольтера, который был старше ее на 12 лет и тогда, конечно, не заметил девочки. В 1725 году она вышла замуж за маркиза Дю Шатле. Вышла без

любви – и через два-три года, по неизменному правилу тогдашнего высшего общества, уже сохраняла с мужем лишь чисто формальные, вполне приличные отношения номинальных супругов, связанных общим именем, имущественными отношениями, а также двумя детьми, рожденными в первые годы брака. Муж и жена, впрочем, ни в каком случае не подходили друг другу. Во всех описаниях внутренней жизни этой семьи, ставшей знаменитой со времени присоединения к ней Вольтера, маркиз не играет никакой роли. Добродушный, ограниченный человек, любящий военную службу, охоту и ничего больше, он никому не мешает и никого не интересуется.

Эмилия Дю Шатле была совсем другим человеком. Не говоря уже о ее умственном превосходстве над мужем, она обладала горячим, любящим сердцем. Относясь к браку так же, как и все современницы ее круга, она любила не так, как они. После замужества и еще до встречи с Вольтером у нее был роман, закончившийся быстрым разрывом. Разрыв был в порядке вещей, но он довел Эмилию до серьезной попытки самоубийства, что уж было вовсе не в нравах ее общества.

Оправившись от этой истории, она набросилась с новым жаром на науку, которой была далеко не чужда и прежде. Еще в доме отца она изучила латинский язык и основательно ознакомилась с римскими классиками. Позднее она пристрастилась к математике и метафизике. И это был не дилетантский интерес к наукам, значительно распространенный среди образованных женщин XVIII века. Г-жа Дю Шатле трудится упорно, серьезно и внимательно, излагает Лейбница и переводит Ньютона.

Ее вторичная встреча с Вольтером относится к 1732 году, а летом 1733 года они уже принадлежат друг другу душой и телом, и обоим кажется, что их прежние связи не были любовью, что они любят в первый раз.

Вольтер действительно любит ее иначе, чем своих прежних возлюбленных. Он снова пишет любовные послания, но в них нет и тени той цинической игривости, которая проявлялась в его прежних произведениях этого рода. С любовью к ней у него соединяются глубокое уважение, восхищение ее умом и характером. Это не только любовь, но вместе и умственное товарищество. Кое в чем они были равны и могли быть товарищами, у нее не было, конечно, и сотой доли его таланта, его разносторонности, его горячий, тотчас же выливающейся на бумагу отзывчивости на все совершающееся в жизни и в духовной сфере. Но по способности усвоения отвлеченнейших результатов философской мысли она была равна ему. Познаниям же в некоторых областях естественных наук и в высшей математике, изученной ею под руководством лучших

специалистов того времени, она превосходила своего друга.

В самом начале их союза Вольтер спешит поделиться с Эмилией своими познаниями и интересами. Он перечитывает с ней своих любимых английских философов и поэтов: Ньютона, Локка, Поупа. Но их слишком часто разлучают беспрерывные истории, связанные с его литературными произведениями. С женской нежностью г-жа Дю Шатле берет на себя заботу о своем слишком горячем, предприимчивом и неосторожном друге. Ее терзает мысль о вечной грозе, под которой он живет, думая лишь о том, чтобы вывернуться из данного затруднения, и в то же время подготавливая своей усиленной умственной производительностью новые опасности на завтра и послезавтра. «Его нужно вечно спасать от него же самого», – жалуется она друзьям. Для этого, по ее уверению, ей нужно «больше дипломатических способностей, чем папе для управления всем христианским миром». Повторяющиеся время от времени внезапные бегства Вольтера – одного, по тогдашним дорогам, при его слабом здоровье – ей просто не выносимы.

На границе Лотарингии, в пустынной гористой местности, у маркизы Дю Шатле есть замок – Сирей, правда, плохо приспособленный для цивилизованной жизни, но в высшей степени удобный по своему положению. Друзья советовали Вольтеру не возвращаться во Францию, но Эмилия горячо восстала против этого плана. Ее положение не позволило бы ей последовать за Вольтером в Голландию или Англию. В Сирее же она решила сама поселиться с ним. А безопасность там будет полная: граница в двух шагах. Кроме того, она надеялась, что под ее бдительным надзором он не будет совершать неосторожностей и во всяком случае рукописи не будут похищаться и попадать в печать без воли автора.

К этому времени у Вольтера были уже значительные денежные средства. Ни усиленная литературная деятельность, ни преследования не помешали ему позаботиться о приращении своего капитала. Удачные спекуляции успели увеличить первоначальную сумму в несколько раз. Он не задумался поэтому приняться за отделку замка за свой счет. При этом не были забыты приспособления для естественнонаучных занятий: физический кабинет и небольшая лаборатория. В одной из галерей замка была также устроена маленькая сцена для спектаклей.

С 1734 года Сирей становится на 15 лет сперва постоянным, а потом главным местом жительства Вольтера. На всем этом периоде лежит отпечаток влияния г-жи Дю Шатле. Опасные литературные труды хотя и пишутся, но не публикуются. Вольтеру пришлось, правда, еще раз бежать на время в Голландию; но навлекшее на него немилость стихотворение не

было одним из тех произведений, печатая которые Вольтер рисковал сознательно. «Светский человек» («Le Mondain») казался ему совершен но невинным. Это стихотворение включает в себе сопоставление первобытного райского состояния с жизнью современного светского человека, окруженного всеми удобствами и роскошью. Автор благодарит природу за то, что она произвела его на свет в нынешний век, на который сыплется столько обвинений. Эти-то безобидные предположения дали повод духовенству добиться от кардинала Флери преследований их автора.

Стихотворение «Светский человек» проникнуто полнейшим оптимизмом. Им же дышат и другие произведения сирейского периода жизни Вольтера. В это время зло в мире представлялось ему обильно перемешанным с добром. В «Трактате о метафизике», написанном в 1734 году, Вольтер говорит, что мы не можем даже судить о совершенстве или несовершенстве мира, так как не имеем возможности представить себе ничего лучшего. В сказке «Бабука, или Мир, каков он есть» гений Итуриэль колеблется сперва между двумя мерами: наказанием Персеполиса (Парижа) ради его исправления и совершенным уничтожением этого безрассудного города. Но, выслушав доклад посланного туда Бабука, гений решает не только не уничтожать Персеполиса, но даже не исправлять его, а оставить таким, каков есть, так как в нем «если не все совершенно, то все сносно». Еще решительнее выразился этот оптимизм в напечатанной в 1738 году дидактической поэме «Речи о человеке», написанной в подражание английскому поэту Поупу, одному из главных «представителей оптимизма». В прозаическом перечне содержания поэмы автор говорит, что «в первой речи доказывается равенство состояний, вытекающее из того, что с каждой профессией связаны известные доли добра и зла, уравновешивающие друг друга». В самой речи сообщается, что короли и маршалы Франции сильно скучают, ибо если у королевских любимцев много льстецов, то много и завистников. Пьеро и Пьеретта, работающие в полях, правда, «зябнут зимой и жарятся летом, но они весело поют за работой, хотя и грубыми, фальшивыми голосами, а мир, спокойный сон, сила и здоровье вознаграждают их за труд и бедность».

Невольно вспоминаются при этом знаменитые описания бедственного положения земледельческих рабочих Франции XVIII века. Но Вольтер и не думает всматриваться в это положение. Он говорит о Пьеро и Пьеретте общие, ходячие фразы, которые нужны ему только для доказательства своей тезы. Покончивши с этими счастливыми в первой речи, он к ним больше не возвращается и в остальных шести речах занят исключительно людьми высших классов, которых поучает способам поменьше скучать и

увеличивать свое счастье. Впрочем, даже такое мимолетное появление Пьеро и Пьеретты составляет большую редкость в произведениях нашего автора. По большей части он их вовсе не касается. Он изменит, как мы увидим впоследствии, свое мнение о мире и перестанет находить его удовлетворительным, но низшие классы и тогда останутся вне поля его зрения. В нем нет вражды к этим классам, свойственной европейскому буржуа XIX века. Не сознательный эгоизм, не жестокость заставляют его игнорировать положение трудящихся масс. Сделавшись впоследствии землевладельцем, Вольтер явится самым заботливым, самым щедрым благодетелем всех окружающих бедняков. Он всегда был очень добр с прислугой, со всеми слабыми, зависящими от него существами, – был очень добр даже с животными. Но в то же время низшие, необразованные люди занимали в его мирозерцании немного больше места, чем животные. Ко всем классам, причастным к цивилизации, двигающим ее вперед или тормозящим, подобно духовенству, он становится в те или другие определенные отношения: дружит с ними или воюет. К остальному человечеству, непричастному к цивилизации, он равнодушен. Это для него инертная, бесформенная масса, не могущая ни помешать, ни помочь прогрессу, а лишь пассивно подчиняющаяся его результатам. Поэтому-то он и не думает о ней. Люди низших классов для него как бы не совсем люди, а – *так*, как выразился граф Толстой, говоря о своем мирозерцании до момента перехода в новую веру.

С 1734 по 1739 год Вольтер прожил почти безвыездно в Сирее. Понемногу в пустынный замок стали наезжать гости. Известные ученые Мопертюи, Клэро, Бернулли гостили поочередно в Сирее. Немецкий ученый, последователь Лейбница Кёниг прожил там даже целых два года, помогая хозяйке в ее ученых трудах. Итальянец Альгаротти привозил на ее суд свою популяризацию философии Ньютона, предназначенную «для дам». Заезжали в Сирей и знакомые дамы, но гораздо реже, – дамам Эмилия вообще не нравилась.

Зиму 1738—1739 года там прогостила г-жа Графиньи, оставившая в своих письмах подробное описание как самого замка, так и его обитателей. В течение дня гости были обыкновенно предоставлены самим себе. Вольтер и г-жа Дю Шатле проводили все дни, а частью и ночи за письменными столами. Гости пользовались их обществом за поздним обедом и час-другой вечером.

Главным предметом занятий Вольтера и его божественной Эмилии (так называл он ее в стихах и письмах) были точные науки, к которым имела пристрастие маркиза, не любившая ни стихов, ни истории –

любимых предметов Вольтера. Одно время он до того поддавался влиянию своей ученой подруги, что писал стихи только в постели, во время своих частых болезней, никогда, однако, не мешавших ему работать. Здоровый же он занимался физикой – представил Академии наук мемуар «О природе и распределении огня», – а также химией и биологией. Однажды он собственноручно обезглавил до сорока улиток, чтобы проверить одно мнение итальянского ученого.

Друзья в Париже, куда доходили слухи об этих занятиях, боялись уже, что Вольтер совсем отдастся естественным наукам и забросит все остальное. Но увлечение было непродолжительным, да и в самую горячую пору его он все-таки, по его выражению, «ухаживал сразу за всеми девятью музами», а потом успел даже привлечь саму Эмилию к изучению истории. «Основы философии Ньютона» были главным произведением, появившимся из-под пера Вольтера в первые годы пребывания в Сирее. Их печатание опять встретило затруднение, вытекавшее на этот раз из чисто философских соображений. Канцлер Д'Агессо, заведовавший делами Печати, был человек ученый и именно поэтому очень твердый в своих научных взглядах. Он был ярым картезианцем и не желал содействовать распространению ложной, по его мнению, доктрины. Пожинать не омраченные придирками лавры Вольтеру удавалось, да и то не всегда, только на сцене. Поставленная в 1736 году, его трагедия «Альзира» имела значительный успех.

С 1739 года кончается затворничество в Сирее. Осень этого года и половину следующего Вольтер и супруги Дю Шатле прожили в Брюсселе, а потом проводили зимы в Париже, возвращаясь в Сирей на лето. С этих пор к безоблачному счастью маркизы начинает примешиваться горечь: божественная Эмилия ревнует. Не к женщине, – в этом отношении Вольтер не давал ей ни малейшего повода, да и вообще никогда первый не изменял никакой женщине. Предметом ее ревности является прусский король Фридрих II. Уже с 1736 года между ним – тогда еще кронпринцем – и Вольтером завязалась оживленная переписка. Принц оказался горячим поклонником Вольтера. О личном знакомстве со своим кумиром при жизни строгого отца нечего было и думать, но он не упускал ни одного случая выразить свои чувства «божеству Сирея» и отправлял ему на прочтение все свои произведения в стихах и в прозе. Вольтер был еще в Брюсселе, когда 31 мая 1740 года Фридрих вступил на престол. Уже в июне, объезжая свои западные владения, он обещал Вольтеру пробраться инкогнито для свидания с ним в Брюссель, но вместо того вызвал его в Клэве, где остановился, задержанный лихорадкой. В первый раз знаменитый писатель

увидел своего коронованного поклонника в комнатке без всякой мебели, дрожащим под плохим одеялом в сильнейшем припадке лихорадки. Тем не менее, когда пароксизм миновал, король оделся, и за долгим ужином они основательно разобрали, по словам Вольтера, вопросы о бессмертии души, свободе воли и прочем, и прочем. За первым свиданием в том же году последовало второе, затем в 1743 году – новое продолжительное пребывание у Фридриха. Во время этих отлучек Эмилия – сама не своя. Ей все кажется, что Вольтер останется в Пруссии, куда она не сможет и не захочет за ним последовать. Письма Вольтера кажутся ей слишком краткими и холодными; она заранее протестует против величайшей, по ее мнению, подлости: променять женщину на короля. Но Вольтер и не думает ни менять Эмилию на Фридриха, ни, тем более, предпочесть Берлин Парижу, в котором чувствует себя наконец в безопасности. Случилась, правда, маленькая неприятность с трагедией «Магомет». Она была принята к постановке, но затем, по инсинуациям литературных врагов Вольтера, Флэри одумался и посоветовал автору – а совет в данном случае равнялся приказанию – снять ее со сцены как нарушающую уважение к религии. Вольтер надумал напечатать свою трагедию с посвящением папе: «Главе истинной религии произведение, направленное против основателя ложной религии». Папа принял посвящение, поблагодарил автора очень любезным письмом, благословил его и прислал золотую медаль со своим портретом. На самом деле лишь неверующее общество, для которого равны все религии, могло увидеть в «Магомете» нападки на христианство. Благочестивым людям трагедия, наоборот, должна была казаться благочестивой и назидательной. Магомет, правда, изображен в ней самыми отвратительными чертами и в заключительном монологе сам называет себя обманщиком, злодеем и т. д. Но в трагедии нет и тени какого-нибудь намека на христианство, нет ни малейшей аналогии с событиями Священной истории. Ненависть же к «неверным» в былые, верующие, времена всеми считалась благочестивым чувством; нападение на ложную религию – защитой истинной. С этой точки зрения, очевидно, взглянул на дело и папа. Но Флэри думал иначе и не взял назад своего запрещения. Зато в 1743 году Вольтера ждало в театре такое торжество, какого он еще ни разу не испытывал. Мы говорим о представлении «Меропы». В неописуемом восторге публика вызвала автора, что было необычно и явилось порывом непосредственного чувства. Он показался в ложе своей старой знакомой г-жи де Виллар, присутствовавшей на представлении со своей молодой невесткой герцогиней де Виллар. Желая тут же, на месте, чем-нибудь вознаградить автора, публика шумно потребовала, чтобы молодая

герцогиня немедленно поцеловала его, что та и исполнила ко всеобщему удовольствию.

Из всех произведений Вольтера трагедии доставили ему больше всего авторских торжеств и славы при жизни. До самой смерти его называли автором «Меропы» и «Заиры», а никак не тех философско-полемических произведений, которые наложили такую неизгладимую печать на все суждения, на всю мысль XVIII века Франции – да и не одной Франции. Друзья и рьяные враги находили, правда, и в его трагедиях кое-какие намеки на вред фанатизма и пользу терпимости, но эти намеки были заметны лишь людям, заранее знакомым со взглядами автора. Мы говорили уже о «Магомете». Также и знаменитая фраза против священников в «Эдипе»^[1] казалась антирелигиозной лишь потому, что была написана врагом духовенства. То же самое говорит об оракулах Иокаста в трагедии Софокла, сюжет которой заимствовал Вольтер. Но развязка трагедии как в греческом оригинале, так и во французской переделке показывает, как жестоко ошибалась Иокаста, как правы священники и верны предсказания оракулов. Прозаические произведения Вольтер писал для пропаганды своих идей, для осмеяния того, что считал злом, для побиения своих врагов. Трагедии писались им исключительно для славы, для аплодисментов и слез публики. Он тщательно подмечал, чем можно угодить этой публике, и всегда готов был по несколько раз переделывать свои трагедии по ее «указаниям». В предназначенных для театра произведениях Вольтер не проявил и той небольшой способности к художественному творчеству, которая заметна в его комической поэме «Девственница» и в его сказках. Эти последние он писал в большинстве случаев с целью разъяснить читателям ту или другую идею, а между тем небрежно и мимоходом он придает в них некоторым из своих героев живые, определенные физиономии, хотя и очерченные лишь в самых общих контурах. В его трагедиях нет и таких физиономий. В них есть только положения – иногда действительно трагические – да звучные стихи, в которых действующие лица высказывают мысли и чувства, соответствующие положениям. В общем, Вольтер является в трагедиях подражателем Корнеля и в особенности Расина, а в некоторых частностях довольно робким новатором. Он находил, например, нелепым обычаем вводить любовь в каждую трагедию, хотя бы в виде эпизода, почти не связанного с главным действием. Он думал, что любовь должна или составлять весь интерес трагедии, или совсем отсутствовать. Сообразно с этим он действительно устранил любовь из трех своих трагедий: «Меропы», «Ореста» и «Смерти Цезаря». Но во многих других она и у него

играет роль холодного, совсем ненужного эпизода.

В Англии Вольтер заинтересовался Шекспиром. Он находил в нем смесь достоинств с чудовищными недостатками. Нарушение всех трех единств, частые убийства на сцене и в особенности грубые разговоры ремесленников, шутов и солдат – личностей неприличных в трагедии – внушали ему глубочайшее отвращение. Но в то же время ему нравились многие монологи у Шекспира и в особенности сложность и живость действия, вместо которого на французской сцене допускались лишь рассказы о событиях, происходящих за сценой. В трагедиях Вольтера действия гораздо больше, чем у его предшественников, но знаменитые единства часто делают совершенно невероятными многочисленные происшествия, совершающиеся в одной и той же комнате в три часа дня. У Шекспира заимствовал Вольтер сюжеты «Заиря» и «Смерти Цезаря», а также многие черты и сцены, рассыпанные в других его трагедиях. Под конец жизни, возмущенный тем, что переводчики Шекспира осмелились поставить его выше французских трагиков, он раскаялся и в тех одобрительных отзывах, которые делал прежде. «Предпочитать чудовище Шекспира – Расину! Я скорее согласился бы променять Аполлона Бельведерского на Христофа (грубая статуя, отличившаяся колоссальными размерами. – *Авт.*)», – говорил Вольтер Дидро. «А что бы вы сказали, – возразил Дидро, – если бы этот громадный Христоф, совсем живой, рассказывал по улицам?»»

Глава IV

Вольтер – придворный. – Смерть Эмили Дю Шатле. – Берлин. – Дружба и ссора с Фридрихом II. – Арест во Франкфурте. – Исторические произведения Вольтера. – «Орлеанская девственница».

В 1744 году Вольтер не был уже гонимым писателем, как десять лет тому назад, но не был еще и официально признанной знаменитостью Франции. Он был уже членом почти всех европейских академий, но тщетно пытался попасть во французскую, как вдруг в 1745 году на него сразу посыпались всевозможные официальные почести.

Умерла Шатору, гласная фаворитка короля, и ей предстояло найти преемницу. Это была в то время очень важная должность во Франции, важнее министерского портфеля. О ней давно уже мечтала и поверяла свои мечты Вольтеру его хорошая знакомая, молодая красавица г-жа Этиоль. Мать – жена крестьянина и содержанка генерального фермера – воспитала ее в том убеждении, что ей предстоит быть фавориткой короля. Мечта казалась почти неисполнимой, так как г-жа Этиоль не имела доступа ко двору, а места признанных фавориток занимались обыкновенно придворными дамами. Но, когда открылась вакансия, мать и дочь так энергично взялись за дело, красавица так упорно попадалась на глаза королю при всех его выездах, что быстро заняла желаемое место повелительницы короля и Франции. Ставши маркизой де Помпадур, она не забыла своего старого знакомого. По ее желанию ему было поручено написать стихи для оперы, которая должна была даваться в придворном театре по случаю бракосочетания дофина. Вольтер написал «Наваррскую принцессу», за что, к немалому огорчению многих родовитых дворян, был сразу пожалован офицером двора Его Величества с двадцатью тысячами франков жалованья и сделан придворным историографом, а при первой открывшейся вакансии был избран, наконец, и в члены Французской академии. Милости были так велики и внезапны, что Вольтеру стало казаться весьма возможным получить вскорости и министерский портфель.

Начинается придворный период жизни Вольтера, недолго длившийся, к счастью если не для него, то для его читателей, а в известном смысле и для всего человечества. Он сам называл свою «Наваррскую принцессу» ярмарочным фарсом, а излишней скромностью Вольтер никогда не страдал. Но не больше литературных достоинств и в других его произведениях того времени. Все это чисто придворная поэзия, вся сотканная из лести,

преподносимой под различными соусами. Такова поэма, прославляющая битву при Фонтенуа. Она требовала большого искусства, так как в ней нужно было назвать в стихах до сотни имен главных участников битвы, сказать каждому по комплименту и при этом не забывать беспрестанно возвращаться к прославлению короля. Затем пишется ода на милосердие Людовика в победе. Наконец, сооружается пятиактная опера «Храм славы», в которой Людовик XV выводится под именем Траяна. Даже в стихотворных посланиях к третьим лицам: Ришелье, герцогине де Мэн и другим, – Вольтер прославляет теперь короля, и только короля. Он – и Траян, и Антоний, и Марк Аврелий. В послании к герцогине де Мэн Людовик XV оказывается даже Александром Македонским. Вольтер остерегался только называть «христианнейшего короля» своим любимым историческим именем императора Юлиана. Это имя он с гораздо большей искренностью преподносил Фридриху II.

Но как ни трудился Вольтер, совсем непоэтический предмет его – тоже непоэтических, хотя и стихотворных – восхвалений оставался холодным, как лед. Король терпел до поры до времени этого нового придворного, но почти не удостоивал скрывать своего отвращения и не говорил с ним ни слова. После представления в придворном театре «Храма славы» Вольтер спросил у Ришелье, стоявшего рядом с королем: «Доволен ли Траян?» Вопрос предназначался для королевских ушей, но Траян молча отвернулся от поэта.

Кроме холодности Траяна, была у Вольтера и другая, редко покидавшая его, но теперь особенно чувствительная забота: это масса сыпавшихся на него пасквилей. Среди множества литературных врагов у Вольтера всегда имелся какой-нибудь один главный. Первым из таких врагов был Ж.-Б. Руссо, затем – аббат Дефонтен, доходивший до чисто личных клевет, уверявший, что Вольтер – вор, блюдолиз, что его отец был крестьянином и прочее. Едва в 1745 году умер Дефонтен, на смену ему явился Фрерон и не отставал уже от Вольтера в течение всей его жизни. Теперь в пасквилях осмеивались придворные успехи нового камер-юнкера и его вступление в Академию. Вольтер затевает процессы, добивается запрещения позорящих его произведений и даже ареста одного из продавцов запрещенных пасквилей. Для писателя, и раньше, и позже дававшего так много работы этим тайным продавцам, которыми кишел тогдашний Париж, было в высшей степени неприлично участвовать в преследовании хотя бы одного из них. Но такова уж основная черта характера Вольтера, что, раз взявшись за что-нибудь, раз вступив в какую-нибудь борьбу – славную или бесславную – он не останавливался на

полпути и всегда готов был сорваться в крайность. У него, как и у всех тех из его современников, которые потеряли веру в традиции, не было никаких заранее готовых, определенных нравственных правил. Еще не было вокруг него в сороковых годах и сложившейся партии единомышленников, с неизбежно вырабатывающимся в каждой партии определенным общественным мнением. Единственным судьей его поступков оставался, таким образом, разум. А у такого впечатлительного, горячего человека, как Вольтер, его индивидуальный «разум» не мог не решать – и слишком часто решал – под диктовку страстей.

Но рядом с дурными чертами он в то же время проявлял и самые лучшие. Вольтер всегда был таким же горячим, неутомимым другом, как и неутомимым врагом. Он имел при этом свойство становиться другом почти каждого, кто обращался к нему за помощью или кому он сам предлагал ее. Всего охотнее помогал он людям, подававшим какую-нибудь надежду сделаться писателями или артистами. И его помощь не была небрежной помощью богатого барина. Он входил во все интересы вновь приобретенного друга; при малейшей возможности поселял его у себя; тратил на него не одни деньги, а также труд, время: переправлял его сочинения, хлопотал об их издании. Так, он долго возился с неким Линаном, затем поддерживал Мармонтеля. Не раз случалось, что его протеже перебегали на сторону врагов, и самому злему из этих врагов, аббату Дефонтену, он оказал в начале их знакомства очень важные услуги. Но эти измены ничуть не отзывались на судьбе людей, после них обращавшихся к нему за помощью: он так же увлекался ими, так же горячо о них заботился. «У этого негодяя, – восклицает не любивший Вольтера Мариво, – одним пороком больше, чем у других, и именно: он иногда бывает добродетельным!» В разгар увлечения придворной карьерой его любимцем был рано умерший, даровитый юноша Вовенарг. На двадцать с лишним лет моложе Вольтера, больной, он вел уединенный образ жизни, думал на досуге и записывал свои мысли, сообщая их лишь близким друзьям. Характер его ума был совершенно противоположен характеру ума Вольтера. Он занимался больше нравственными вопросами, придавал огромное значение чувству; его выражение: «Великие мысли вытекают из сердца», – приобрело известность. Вольтер часто расходился с ним во взглядах, но преклонялся перед его нравственной чистотой, его «добродетелью», как тогда выражались. Близкий с обоими Мармонтель говорит в своих мемуарах, что его восхищало нежное уважение, которым знаменитый писатель окружал своего молодого друга.

Между тем положение Вольтера при дворе становилось все более и

более шатким. Благочестивая королева и большая часть придворных искали лишь удобного повода, чтобы устранить его. Повод нашелся в мадригале, поднесенном поэтом г-же Помпадур, оставшейся его единственной покровительницей. Стихотворение заканчивалось пожеланием, чтобы как король, так и она сама навсегда сохранили свои завоевания. Это понравилось Помпадур, но возбудило толки при дворе королевы. Автору пеняли, что неприлично ставить на одну доску завоевания короля во Фландрии и завоевание его собственной особы фавориткой. Толки приняли такие размеры, что Вольтер с г-жою Дю Шатле сочли за лучшее поспешно уехать в Сирей, а оттуда – в Люневиль, где прожили весь 1748 и половину 1749 года при дворе Станислава Лещинского, этого польского пана и совершеннейшего французского сеньора, бывшего два раза польским королем, а теперь доживавшего век в Лотарингии с сохранением королевского титула, но почти без всякой власти. Он считал себя философом, правда, христианским, как свидетельствовало заглавие одного из его сочинений, но это не мешало ему давать, подобно безбожному Фридриху, поправлять свои сочинения Вольтеру. Жизнь текла здесь так спокойно и свободно, что напоминала скорее беззаботное существование в гостях у частного богатого человека, чем при дворе.

Вместо внешних бурь появились внутренние. При том же дворе проживал будущий автор описательной поэмы «Времена года», тогда еще просто молодой, блестящий офицер Сен-Ламбер, которому выпало на долю отбить любимых женщин у двух величайших писателей Франции: сперва у Вольтера, а через 8 лет – у Ж.-Ж. Руссо.

Он нравился не одним женщинам, а также и мужчинам, и сразу завоевал все симпатии Вольтера. Летом 1748 года этот последний внезапно открыл, что его божественная Эмилия принадлежит другому. Под первым впечатлением он, хотя и больной, решил тою же ночью уехать из замка Коммерси, летней резиденции Станислава, где происходило дело. Но Эмилия пришла к нему и повела рассудительные речи: за что ему сердиться? Чем огорчаться? Он болен, он нуждается в спокойствии, а ей нужна любовь. Не лучше ли, что она полюбила человека, к которому он сам относился дружески, чем кого-нибудь другого?

Речи подействовали на Вольтера, он успокоился, обнял пришедшего Сен-Ламбера, признал, что был неправ, что ему, старику, не следовало предъявлять требований на чувство, принадлежащее молодости (Сен-Ламберу было 32 года, но Эмилии уже за 40), и остался жить со своим другом. Эту характерную для людей XVIII века сцену рассказывает в своих мемуарах секретарь Вольтера, Лоншан, слышавший разговор из соседней

комнаты.

Вольтер не жалел, конечно, что провел еще год со своим незаменимым другом. Ему и без того предстояло скоро потерять Эмилию, умершую от послеродовой болезни 10 сентября 1749 года. Она предвидела громадную опасность родов в такие годы, после двадцатипятилетнего промежутка. Ее главной заботой в последние месяцы жизни было опасение, что ее «Комментарии» к сделанному ею переводу «Принципов» Ньютона останутся не законченными. Чем ближе подходил срок, тем напряженнее она работала. Начало родов застало ее за этим трудом. Сверх ожидания роды были легкими, но через несколько дней послеродовая болезнь свела ее в могилу. Выйдя из комнаты своего умершего друга, Вольтер упал без чувств внизу на лестнице, где его нашел Сен-Ламбер.

Люневиль опротивел Вольтеру. Он переехал в Париж и поселился в том же доме, где раньше жил с Эмилией. В страшной тоске бродил он по целым ночам по комнатам, точно разыскивая умершую, не хотел никого видеть и не выказывал ни к чему интереса. Последнее обстоятельство, как слишком противоречащее характеру Вольтера, особенно пугало его близких друзей. Д'Аржанталь и Ришелье употребляли все усилия, чтобы разбудить в нем страсть к театру. За последние годы при дворе вошло в моду прославлять, назло Вольтеру, в качестве первого современного трагика почти забытого Кребильона. Это прежде бесило Вольтера, и еще при жизни Эмилии он работал в Люневиле над двумя трагедиями на те же сюжеты, которые были разработаны Кребильоном: «Орестом» предполагалось побить «Электру», а «Спасенным Римом» – «Катилину» Кребильона. Д'Аржанталь и Ришелье нарочно рассказывали Вольтеру о славе Кребильона, на сторону которого враги успели уже перетянуть и Помпадур. Друзья рассчитали верно: жилка борьбы заговорила в Вольтере. Он согласился поставить на сцене «Ореста», который был, впрочем, беспощадно освистан благодаря усилиям сторонников Кребильона. Но Вольтер уже нашел себе другую заботу, отвлекавшую его от тоски и более симпатичную, чем соперничество со старым Кребильоном.

В Париже существовало в то время несколько обществ любителей из буржуазии, игравших небольшие пьесы в нанятых помещениях. Попав на одно из таких представлений, Вольтер был очарован талантливой игрой одного молодого ремесленника, Лекена. После представления он зазвал его к себе, обласкал и, узнав, что тот по недостатку средств не может совершенствовать свой талант, тут же предложил ему значительную денежную помощь. Лекен рассказывает в своих воспоминаниях, что был растроган до слез такой добротой в человеке, которого молва рисовала

жадным, бессердечным эгоистом. При следующих свиданиях Вольтер окончательно увлекся юношей, поселил его у себя, давал ему уроки, устроил для него домашнюю сцену, на которой тот играл вместе с товарищами. Он же потом выхлопотал Лекену позволение дебютировать на сцене. Это было едва ли не самое удачное из всех внезапных увлечений Вольтера подающими надежды юношами. Лекен скоро сделался лучшим парижским актером и навсегда остался преданным другом своего знаменитого покровителя, его «благородным учеником», как он сам называл себя.

Между тем положение в Париже становилось все тяжелее для Вольтера: в литературе его осыпали пасквилями, при дворе и в театре торжествовали его враги. С другой стороны, Фридрих II все настойчивее и настойчивее звал его к себе. «Обыкновенно мы, писатели, хвалим королей, а этот сам расхваливал меня с головы до ног в то время, как негодяи... позорили меня на весь Париж по меньшей мере раз в неделю... Как было устоять против победоносного короля, поэта, музыканта и философа, который делал вид, что любит меня? Мне показалось, что я тоже люблю его». Так объясняет Вольтер в мемуарах свое решение поехать к Фридриху.

В начале июня 1750 года он выехал из Парижа с разрешения Людовика XV, с сохранением своего придворного титула и звания историографа, вовсе не предчувствуя, что вернется в этот город лишь за три месяца до смерти. Фридрих встретил Вольтера самым дружеским образом, поселил его во дворце как раз под своими комнатами и предоставил своему гостю полную свободу.

За ужином собиралась компания личных друзей короля. Это были в большинстве французы, среди которых выделялся Ла Меттри. Был один итальянец – уже известный нам Альгаротти, один венгр и ни одного немца. Чтобы попасть на эти ужины, требовалось быть вольнодумцем и умным человеком. «Никогда и нигде в мире не говорили с такой свободой обо всех человеческих суевериях и не третировали их с большими насмешками и презрением», – говорит Вольтер, характеризуя знаменитые ужины. За ними говорилось много остроумных вещей. «Король сам проявлял ум и вызывал других на его проявление и, что всего удивительнее, – добавляет Вольтер, – я никогда не ужинал с меньшими стеснениями».

Фридрих употреблял все усилия, чтобы склонить своего гостя на прочное водворение в Пруссии. Парижские друзья отговаривали Вольтера от этого шага, пугая его той рабской зависимостью от Фридриха, в которой он очутится, поступив на его службу. Вольтер письменно сообщил королю об этих опасениях. Они нередко переписывались друг с другом с одного

этажа на другой. «Мы оба философы, – отвечал в письме король. – Что может быть естественнее, если два философа, связанные одинаковыми предметами изучения, общностью вкусов и образа мыслей, доставляют себе удовольствие совместной жизни? Я уважаю вас как моего учителя в красноречии и знании; я люблю вас как добродетельного друга. Какого же рабства, какого несчастья можете вы опасаться в стране, где вас ценят, как в отечестве, живя у друга, имеющего благородное сердце?»

«Немногие коронованные особы писали такие письма, – говорит Вольтер. – Оно окончательно опьяняло меня. Словесные уверения были еще горячее... Он поцеловал мою руку, я ответил ему тем же и стал его рабом».

«Рабство» было вначале самым приятным, какое только можно себе представить. Вольтер был сделан камергером с двадцатью тысячами франков годового содержания, получил золотой ключ и орден на шею.

«Моя должность, – писал он в Париж, – заключается в том, чтобы ничего не делать. Час в день я посвящаю королю, чтобы несколько сглаживать слог его произведений в стихах и прозе... Все остальное время остается в моем полном распоряжении, а вечер заканчивается приятным ужином».

Свой досуг он употребил прежде всего на окончание давно начатой «Истории века Людовика XIV», которая и была отпечатана в Берлине в 1751 году. По обилию и тщательной проверке материала это – лучший из исторических трудов Вольтера.

Но преклонение автора перед величайшим, по его мнению, веком, доведшим искусство и поэзию (его любимую трагедию) до совершенства, – преклонение, распространенное и на короля, покровительствовавшего искусству, поощрявшего блеск, роскошь и утонченность цивилизации, вызывало неудовольствие даже среди учеников и последователей Вольтера, принадлежавших к молодому, более демократически настроенному поколению.

Несмотря на свое отвращение к Вольтеру, Людовик XV был очень недоволен его переходом на службу к Фридриху, а при дворе этот поступок прямо называли «дезертирством». Возможность возвращения во Францию становилась проблематичной. А между тем и в Берлине безоблачное счастье было очень непродолжительным. К восторженным описаниям жизни у Фридриха начинают примешиваться печальные нотки. «Все хорошо, – пишет он уже в ноябре 1750 года, – театр, ужины короля, но, но... В Берлине прекрасные здания, прелестные принцессы и придворные дамы, но, но...» Из дальнейшей переписки, а также из мемуаров мы можем

догадаться о смысле этих таинственных *но*. Вольтер начинает чувствовать себя не совсем свободно со своим всемогущим другом, опирающимся на 150 тысяч человек победоносного войска. Ум этого венценосного друга также свободен от предрассудков, а вместе с тем и от всяких определенных нравственных правил, как и ум самого Вольтера. Он обладает беспощадной, ни перед чем не останавливающейся волей. Он по-кошачьи ласков со своими «друзьями» и по-кошачьи же царапает их, когда вздумается. «Всякое общество, – пишет Вольтер, – если оно не состоит из львов и коз (басня Лафонтена), имеет свои законы, а Фридрих нарушил первейший из этих законов: не говорить присутствующим ничего неприятного». Маленькие царапины то тому, то другому из присутствующих наносились шутя, но в наносившей их лапе чувствовалась львиная сила, могущая, при желании, совершенно уничтожить бедную козу.

Первое соприкосновение с королевскими когтями было тем чувствительнее для Вольтера, что он сам подал к нему повод и не мог жаловаться. Этим поводом послужила страсть Вольтера к денежным спекуляциям, которыми он так счастливо занимался во Франции и попробовал заняться также в Пруссии. Не поладив с фактором-евреем относительно вознаграждения, Вольтер заупрямился, довел дело до суда, и хотя суд решил дело в его пользу, но в обществе осталось подозрение, что знаменитый писатель перехитрил хитрейшего из берлинских жидов. Фридрих, бывший в Потсдаме в то время, когда Вольтер судился в Берлине, написал ему по этому поводу беспощадное письмо. Он высчитал все его вины: Вольтер впутал его в свои ссоры с литературными врагами, он всегда со всеми ссорился, имел процессы еще в Париже, а теперь занялся спекуляциями и втянулся в скандальное дело с жидом, одно имя которого, упоминаемое рядом с именем Вольтера, является позором для последнего, и прочее, и прочее.

Словом, Фридрих разобрал Вольтера как провинившегося мальчишку, не забывая при этом упоминать о его почтенном возрасте. И Вольтеру пришлось проглотить обиду и просить извинения. Эта история всегда приводилась врагами Вольтера в доказательство его безмерного корыстолюбия. Заметим только, что весь спор с евреем шел о сумме в тысячу талеров, а за год перед этим, по рассказу Лекена, тот же человек предложил ему, в первый раз его видя, 10 тысяч франков и затем действительно истратил для него не меньшую сумму. Через несколько лет Вольтер затеет с президентом де Броссом, у которого купил имение, длинейший спор из-за нескольких вязанок дров, стоимостью самое большее в 170 франков. Для богача Вольтера, в то же самое время

раздававшего гораздо большие суммы, 170 франков не могли иметь значения. А между тем, попав на человека, такого же упрямого, как и сам, он провозился с этим делом более года. Спекулировал Вольтер, конечно, из корыстолюбия – из стремления увеличивать свои средства, но затевал нелепые процессы, сильно вредившие его репутации, никак не из корыстолюбия, а из упрямства, страсти к борьбе, из желания наказать за несправедливое, по его мнению, требование.

Фридрих простил Вольтера. История с евреем была предана забвению. Жизнь, по-видимому, шла по-прежнему; но Вольтер уже не чувствовал себя по-прежнему. Ла Меттри, самый близкий к королю из окружавших его иностранцев, еще усилил беспокойное чувство Вольтера. Он рассказал ему, что король в разговоре о нем выразился следующим образом: «Он еще нужен пока, но раз сок из апельсина выжат, кору бросают». Вольтер был сильно взволнован этой фразой. Он беспрестанно возвращается к ней во всех письмах этого времени. Иногда на него нападало сомнение: Ла Меттри любит насмеяться над людьми, – не были ли слова о корке только злой шуткой этого насмешника? Вольтер принимался тогда расспрашивать Ла Меттри, умолял его сказать правду – тот стоял на своем. Ла Меттри умер в ноябре 1751 года, и Вольтер очень жалел, что не мог еще раз поговорить с ним перед смертью, – может быть, он сказал бы, наконец, правду...

Как бы там ни было, Вольтер стал подготавливать свое бегство из Берлина, решив, как он выражается, «убрать апельсиновую корку в безопасное место». Он начал с того, что позаботился о своих капиталах, переместив их из Пруссии в Вюртемберг. К сплетням Вольтеру на короля не замедлили присоединиться также сплетни королю на Вольтера. Сперва ему передали слова Вольтера, что со смертью Ла Меттри «открылась вакансия на должность королевского атеиста». На это Фридрих не обратил внимания. Но когда ему сказали, что Вольтер называет его стихи «грязным бельем, которое отдается ему для стирки», и вообще не находит их хорошими, обращение короля изменилось и стихов «для стирки» стало присылаться гораздо меньше.

Вольтер был убежден, что этими сплетнями занимался не кто иной, как президент Берлинской академии Мопертюи, который когда-то был его приятелем, но, встретясь с ним в Берлине, начал относиться к нему очень недоброжелательно, а под конец – прямо враждебно. Мопертюи опубликовал перед этим свое очень важное, по его мнению, научное открытие относительно «сбережения силы в природе». Кёниг – близкий знакомый Вольтера по Сиреню, – бывший членом Берлинской академии, сообщил президенту свои возражения на его открытие и показал копию с

письма Лейбница, в котором знаменитый философ говорит о том же законе «сбережения силы», но не признает его верным. Открытие оказывалось, таким образом, вовсе не открытием. Мопертюи, привыкший к безусловному подчинению со стороны членов Берлинской академии, отнесся очень сурово к дерзости Кёнига и даже не прочел его мемуара. Тот тем не менее напечатал его. Мопертюи, зная от самого Кёнига, что у него имеется только копия с письма Лейбница, потребовал предъявления оригинала и назначил для этого срок. Достать оригинал не было возможности. Срок прошел, и Мопертюи на торжественном заседании своей покорной академии объявил Кёнига фальсификатором. Тот апеллировал к общественному мнению. Поступок был действительно возмутительный: особого рода академическое судебное убийство. Если бы Вольтер и не дружил с Кёнигом, и не был зол на Мопертюи, он все-таки возмутился бы и напал на обидчика, как не раз в жизни делал это без всяких личных мотивов. Тем охотнее сделал он это теперь, разоблачив во французских журналах всю неприглядность поступка президента Берлинской академии. Но этим дело не кончилось. Мопертюи, точно нарочно на соблазн Вольтеру, вскоре выпустил книжку «Писем», дававших обильную пищу для насмешки. Говорят, что, огорченный противодействием Кёнига, властолюбивый президент начал в это время усиленно прибегать к водке и написал большую часть своего произведения под действием этого напитка. Иначе действительно трудно объяснить себе всю массу фантазий, серьезно предлагаемых публике, в этих удивительных «Письмах». Там имелись проекты, предлагавшие прорыть отверстие до центра земли и выстроить город, в котором все жители говорили бы исключительно по-латыни. Смерть, которую автор считал моментом полной зрелости человека, могла быть, по его мнению, значительно отсрочена посредством обмазывания тела смолой для предотвращения испарений. Человек, рассуждал Мопертюи, может узнавать будущее, приводя свою душу в экзальтированное состояние, а природу этой души можно узнать, рассекая мозги гигантов, живущих в Патагонии. Можно себе представить, как отлично воспользовался этими фантазиями Вольтер. Между прочим, Мопертюи предложил в тех же «Письмах» платить докторам лишь в том случае, когда больные выздоравливают. Несмотря на такую жестокость, добрый доктор Акакий (по-гречески – «без лукавства»), от имени которого Вольтер написал свою «Диатрибу» против Мопертюи, берется лечить злого уроженца С. – Мало (родина президента) от его хронической болезни, называемой филократией, и действительно лечит в самой остроумной сатире, когда-либо выходявшей из-под пера Вольтера.

Фридрих, принявший в деле с Кёнигом сторону Мопертюи, рассердился. После грозного внушения он сжег в присутствии автора все экземпляры «Диатрибы» в камине собственного кабинета. С Вольтера взято было письменное обязательство больше не трогать президента. Король мог думать, что избавил последнего от посмеяния. Но едва догорели отпечатанные в Потсдаме экземпляры, как из Дрездена пришло и наводнило Берлин новое издание того же памфлета. В Париже, как оказалось, он разошелся в тысячах экземпляров, и вся читающая Европа хохотала уже над несчастным Мопертюи. Фридрих пришел в бешенство и приказал (24 декабря 1752 года) жечь ненавистную брошюру на площадях Берлина рукою палача. Оскорбленный Вольтер отослал королю знак своего камергерского достоинства и орден и попросил отставки. Фридрих желал унижить, наказать Вольтера, но не желал с ним расставаться. В тот же день доверенный секретарь короля, Фредерсдорф, принес ему обратно ключ и орден с самыми миролюбивыми предложениями. Король опять желает видеть его за своими ужинами и зовет с собою в Потсдам, куда отправляется в конце месяца. Вольтер отговаривается нездоровьем, ему нужно лечиться. Фридрих присылает хинин. «Хинин не поможет, – отзывается Вольтер. – Необходима поездка на воды в Пломбьер».—

«В моих владениях в Глаце тоже есть воды не хуже французских», – отвечает король.

Фридрих не захотел бы, конечно, насильно держать Вольтера, но мог при отъезде наделать ему много неприятностей. Вольтер, твердо решившийся уйти из-под власти своего бывшего друга, прибегнул к хитрости. Он поехал в Потсдам, где находился король, провел с ним неделю и снова ужинал «под мечом Дамокла», по его выражению. С внешней стороны старые отношения были восстановлены. Вольтер получил позволение отправиться в Пломбьер, дав слово вернуться обратно осенью.

26 марта 1753 года он выехал из Потсдама и через два дня был уже в Лейпциге, где остановился на несколько недель. Со времени появления «Диатрибы» у него накопилось уже немало новых насмешек над Мопертюи, и он не преминул сообщить их многочисленным знакомым, которых тотчас же приобрел в Лейпциге. Слухи о новых готовящихся сатирах дошли до Берлина, и злой гений внушил Мопертюи мысль написать Вольтеру угрожающее письмо, в котором президент заявляет, что он достаточно здоров, чтобы настичь Вольтера и лично отомстить ему. Такое письмо заслуживало ответа, который и был написан в самой «дружеской» форме от имени все того же доброго доктора Акакия.

«Поздравляю вас с прекрасным состоянием вашего здоровья, – пишет доктор, – но я не так здоров, как вы. Я в постели и прошу вас отложить на время маленький физический опыт, которому вы намерены меня подвергнуть. Вы, может быть, хотите меня анатомировать? Но подумайте о том, что я вовсе не гигант из Патагонии, и мой мозг так мал, что рассечение его волокон не даст вам никаких новых сведений относительно души... Сделайте также одолжение обратить ваше внимание на следующее обстоятельство: если вы соблаговолите экзальтировать вашу душу, чтобы ясно видеть будущее, вы тотчас увидите, что, явившись убивать меня в Лейпциге, где вас так же мало любят, как и повсюду, и где ваше письмо известно, вы рискуете быть повешенным, что слишком ускорило бы момент наступления вашей зрелости и было бы неприлично для президента Академии». Одновременно с этим Вольтер просит секретаря Берлинской академии вычеркнуть его из списков, так как иначе было бы слишком затруднений с составлением похвального слова умершему члену после убийства и анатомирования, которые совершит над ним президент. Кроме того, в «Лейпцигской газете» появилось объявление с комическими приметами неизвестного человека и обещанием тому, кто известит о его прибытии, награды в тысячу дукатов из фонда латинского города, который будет выстроен этим неизвестным.

Потешившись таким образом и потешив читателей, Вольтер переехал в Готу, где прожил пять недель в гостях у герцога. А тем временем новые послания доктора Акакия делали свое дело, и над Вольтером собиралась гроза. Увидя из продолжения войны с Мопертюи, как твердо решил Вольтер не возвращаться в Пруссию, Фридрих обеспокоился. Мы знаем, как любил он писать стихи. Его избранные стихотворения были отпечатаны в нескольких экземплярах и розданы ближайшим друзьям, в том числе и Вольтеру. В этих стихах было немало злых выходок против коронованных особ, немало также насмешек и над религией. Их опубликование было бы очень неприятно королю. Не доверяя больше Вольтеру, Фридрих решил отобрать у него официальным путем свои стихи, а кстати уж отобрать также орден, ключ и некоторые письма. Сделать это в Готе, у гостя герцога, было неудобно, и приказ был послан во Франкфурт, который лежал на пути Вольтера и где не было коронованных особ.

Прибыв 31 мая во Франкфурт и переночевав в гостинице, Вольтер готовился уже двинуться в дальнейший путь, как вдруг к нему явился прусский резидент во Франкфурте Фрейтаг, в сопровождении прусского офицера, и потребовал у Вольтера выдачи им известного ключа, ордена, писем, а главное – книги «поэтических произведений моего милостивого

короля», как выражался Фрейтаг о стихах Фридриха. Все остальное Вольтер отдал, но книга вместе с частью его вещей была оставлена в Лейпциге для пересылки в Страсбург. Фрейтаг сделал подробный обыск, длившийся целых восемь часов, но «поэтических произведений» не оказалось, и Вольтеру было объявлено, что он остается под домашним арестом до прибытия вещей из Лейпцига. Понятно бешенство Вольтера, но пока он еще крепился.

Его племянница, дочь его умершей сестры, бездетная вдова г-жа Дени, ожидавшая дядю в Страсбурге, при известии об аресте приехала во Франкфурт и осталась с ним в гостинице. Восемнадцатого июня прибыли вещи из Лейпцига и с ними королевские стихи, но Фрейтаг, не получивший еще ответа на посланный им в Берлин отчет о своих действиях, отказался отпустить пленника.

Окончательно выведенный из терпения и опасаясь за свою дальнейшую судьбу, Вольтер решился бежать и 20 июня тайно выехал со своим секретарем Коллини, но на заставе был задержан бдительным Фрейтагом и теперь уже как преступник подвергнут настоящему строгому аресту. У него отобрали все вещи, деньги, даже табакерку. Таким же строгостям были подвергнуты Коллини и г-жа Дени. Всех их разместили по разным комнатам очень плохой гостиницы и приставили к каждому по четыре солдата. На следующий день из Берлина пришло приказание отпустить Вольтера. Но Фрейтаг рассудил, что приказание дано до бегства, – бегство же есть преступление против короля, и теперь он не может отпустить арестанта, не получив нового приказа. В ожидании этого приказа прошло еще две недели строжайшего ареста, и лишь 7 июля Вольтер выехал, наконец, из Франкфурта, поплатившись, вдобавок, значительной суммой на покрытие издержек по содержанию его под арестом.

Он стремился в Париж, но, зная, как дурно было принято его «дезертирство» и как мало могла поправить его дела ссора с Фридрихом, дружба с которым все же придавала ему при дворе известное значение, он был в нерешимости и остановился пока в Страсбурге. При немилости двора Вольтер, несмотря на свои 60 лет и европейскую славу, мог всего опасаться от врагов, а в такие годы и при расшатанном здоровье преследования переносятся совсем не так легко, как в молодости. Вражда же духовенства давала себя чувствовать даже в Страсбурге, а затем в Кольмаре, куда он переехал в октябре. Летом следующего, 1754 года он направился было в Пломбьер, но, услышав, что там находится его враг Мопертюи, предпочел остановиться по дороге в бенедиктинском

монастыре в Вогезах, настоятель которого дон Кальмет был его хорошим знакомым по Сирею, где ученый монах часто гостил при жизни маркизы. Здесь Вольтер с удовольствием провел целый месяц, вспоминая с доном Кальметом счастливые сирейские дни, а главное, изучая под его руководством старые фолианты богатой монастырской библиотеки. Он заказал также монахам множество выписок из творений отцов церкви и из истории соборов, которые пригодились ему впоследствии. После отъезда Мопертюи Вольтер успел еще побыть в Пломбьере несколько недель с прибывшим туда для свидания с ним д'Аржанталем. Потом снова вернулся в Кольмар. Из Парижа приходили всё нерадостные вести. В ноябре он отправился в Лион на свидание с другим своим старым приятелем, герцогом Ришелье. Тот тоже не мог сказать ничего утешительного: король и слышать не хотел о Вольтере. К довершению бед, именно теперь различными путями получило огласку существование двух произведений Вольтера, не имевших между собою ничего общего, кроме того, что ни то, ни другое не предназначалось к печати, по крайней мере в том виде, в каком они проникли теперь в публику. Мы говорим о главном историческом труде Вольтера «Опыт о нравах и о духе наций» и о его поэме «Девственница» («La Pucelle»). Оба эти произведения были почти окончены еще в Сирее. В предисловии, предпосланном Вольтером своему историческому труду, он так объясняет его происхождение: при обширном уме и способности к метафизике, маркиза Дю Шатле чувствовала отвращение к истории. «Я никогда не могла. окончить, – говорила она, – ни одной истории новых народов (для истории Греции и Рима она делала исключение). Я встречаю в них лишь путаницу событий; массу мелких фактов без последовательности и связи, тысячи битв, которые ничего не решают... Я отказываюсь от этого изучения, столь же сухого, как и обширного, которое утомляет ум, не просвещая его». Вольтер сходилась с маркизой в оценке многотомных и сухих сводов старых хроник, из которых состояла историческая литература того времени. Но он думал, что историю можно изучать по другому способу. Из массы бесформенного исторического материала можно сделать разумный выбор. Отбросив скучные и бесполезные подробности войн и дипломатических переговоров, можно выбрать из истории все то, что обрисовывает нравы, и проследить сквозь хаос событий ход развития человеческого ума. Эта мысль понравилась маркизе. Они вместе принялись за изучение истории по новому плану, и «Опыт», а также «Философия истории», переделанная потом Вольтером во введение к «Опыту», были плодом этого изучения.

Уже раньше своими историями Карла XIII и Людовика XIV Вольтер

доказал читающей публике возможность интересных для нее исторических произведений. Но там излагались почти современные события. «Опыт» заставил читателей заинтересоваться историей всей Европы со времени Карла Великого до царствования Людовика XIV. Кроме несравненного слога Вольтера, его яркой, остроумной манеры изложения, кроме освещения тех сторон жизни человечества, на которые раньше не обращалось внимания, новостью в этом историческом произведении было также критическое отношение к источникам. Вольтер установил тот принцип, что, раз историк или хроникер рассказывает нечто невероятное, к его свидетельству следует относиться с сомнением; повествования же, которые не согласуются с законами природы или здравым смыслом, следует отбрасывать как совершенно ложные, как бы ни было почтенно имя приводящего их историка. Вольтер не первый высказал это правило, но он первый его популяризировал, он ввел его в общее сознание. В «Философии истории», написанной отчасти по одному плану с Боссюэтовой «Речью о всемирной истории», Вольтер, видимо, задается целью опровергнуть исторические взгляды Боссюэта, еще господствовавшие в школах. У Боссюэта, как известно, центром всемирной истории является история еврейского народа. В кратком обзоре древней истории у Вольтера евреи оказываются, наоборот, самым ничтожным, варварским племенем, которого не знали современные ему цивилизованные нации. Боссюэт совсем не касается Китая и Индии как стран, не соприкасавшихся с еврейским народом. Вольтер усиленно напирает на сравнительную цивилизованность этих стран и на возвышенную мораль их священных книг. В особенности прославляется Китай как единственная страна, в которой высшие классы вовсе не знают суеверий и где нет организованного духовенства. Сдержанная, замаскированная полемика также и против христианской религии проходит у Вольтера красной нитью через все его истории. С особенным старанием сопоставляет он сравнительную терпимость последователей всех других религий и нетерпимость христиан и высчитывает миллионы уничтоженных человеческих жизней, реки крови еретиков, пролитой христианами во имя религии.

Это-то произведение, в слишком откровенном и не вполне обработанном виде, стало печататься в 1754 году в Дрездене по похищенной рукописи. Вольтер протестовал, по обыкновению, уверяя, что самые смелые фразы прибавлены издателями. Тем не менее «Опыт» – и в особенности один, показанный королю, отрывок из предисловия – был в числе причин, лишивших автора возможности возвратиться во Францию.

Поселившись в следующем году на швейцарской территории, Вольтер закончил обработку этого труда и сам издал его в шести тысячах экземплярах, – количество, неслыханное для того времени. Тем не менее еще при его жизни понадобились новые издания. Над своим «Опытом» Вольтер не переставал работать до самой смерти, то добавляя, то изменяя разные подробности. Его новый способ писать историю быстро создал целую школу, – прежде всего в Англии: Гиббон, Юм, Робертсон принадлежали к его последователям.

Другим произведением, «изгонявшим» Вольтера из Франции, была знаменитая «Орлеанская девственница», многочисленные копии которой ходили по Парижу, что предвещало скорое появление ее в печати. Уже больше двадцати лет прошло с тех пор, как Вольтер начал писать эту поэму. Она была его любимым детищем; над нею отдыхал он от серьезных работ и забавлял ею друзей и приятелей. Он никогда не предназначал ее для печати и очень заботился, чтобы о ней не узнали враги. Но сам он так любил ее, что читал почти каждому, кто заслуживал его расположение, а близким приятелям не отказывал и в копиях. К тому же многие заучивали стихи наизусть, а известный приятель Вольтера Тирио сделал своей специальностью декламирование поэмы в салонах. Иметь копию этой поэмы и знать из нее наизусть несколько отрывков стало признаком хорошего тона и доказательством принадлежности к избранному обществу. Со смертью г-жи Дю Шатле, зорко следившей за тем, чтобы рукописи не попадали в неверные руки, копии «Pucelle» до того размножились, что в 1754 году сотнями продавались в Париже и с 50 луидоров упали в цене до одного, а в 1755 году поэма была напечатана, как подозревал Вольтер, его врагом ла Бомелем.

Хотя «Pucelle» и носит название поэмы, в ней нет цельности содержания. Отдельные эпизоды и сцены, писавшиеся в течение десятков лет, почти ничем не связаны, кроме имени героини. На историческую верность лиц и событий Вольтер не имел в этом фантастическом произведении ни малейшей претензии, и когда впоследствии сам напечатал его, то даже не отказал себе в удовольствии ввести в поэму с сюжетом, заимствованным из истории начала XV века, своих современных литературных врагов: Фрерона, ла Бомеля и с полдюжины других – в виде каторжников. Сама Иоанна – согласно, впрочем, одной бургундской, враждебной ей, хронике – является у него не крестьянкой, а трактирной служанкой 27 лет, вместо исторических 18-ти. По живости, остроумию, по блескам воображения, рассыпанным повсюду, «Орлеанская девственница» как художественное произведение выше «Генриады» и трагедий Вольтера,

но огромным успехом в XVIII веке она все же обязана не столько своим литературным достоинствам, сколько дерзкому издевательству над тем, что считалось святым и великим: над девственницей и героиней. Теперь трудно даже представить себе эту охоту издеваться над девушкой-героиней, явившейся на помощь отечеству в тот момент, когда оно было на краю гибели, и погибшей на костре. Чтобы понять это, надо стать на точку зрения XVIII века. Для благочестивых людей Иоанна была олицетворением девственности и вытекающей из этого святости. В многотомной благочестивой поэме Шапелена, подавшей Вольтеру мысль писать на тот же сюжет в противоположном тоне, Иоанна беспрестанно совершает сверхъестественные дела, находится в постоянном общении со святыми – и все благодаря девственности. Девственность, безбрачие было той прославленной добродетелью, которой католическое духовенство всегда придавало гораздо больше значения, чем духовенство других вероисповеданий, хотя и мало придерживалось ее на практике. Это заставляло людей XVIII века переносить свою вражду против духовенства и на его прославленную добродетель. Кондорсе прямо ставит в заслугу Вольтеру ее осмеяние, так как оно вырывает оружие, направленное против честных людей, из рук злых ханжей и лицемеров.

С другой стороны, хотя Вольтер и отдает полную справедливость храбрости Орлеанской девы, но эта храбрость не может внушить ему достаточного уважения к ней. Ведь Иоанна была безграмотной служанкой и жила в варварском веке, а мы уже знаем, что для Вольтера имели значение лишь просвещенные люди, способствовавшие успехам цивилизации. Красота, не покрытая лоском цивилизации, была недоступна его пониманию как в характерах и поступках людей, так и в произведениях искусства и поэзии. То же пристрастие к цивилизации и отвращение к варварству заставляет его отрицать всякую красоту в готических храмах, предпочитать Вергилия Гомеру и каяться в мимолетном снисхождении к Шекспиру; оно же влияет и на его отношение к Евангельской истории...

Глава V

Вольтер – хозяин. – Лиссабонское землетрясение. – «Кандид». – Энциклопедия. – Критика Вольтера. – Его философия. – Отношение к Ж.-Ж. Руссо.

Убедившись в необходимости искать себе приюта вне Франции, Вольтер в декабре 1754 года направился из Лиона в Женеву посоветоваться относительно своего здоровья со знаменитым врачом Троншеном, а также посмотреть, нельзя ли будет устроиться в этой маленькой, говорящей по-французски, республике. Осмотревшись, он действительно купил близ Женевы усадьбу, которую назвал Делис (наслаждение). «Мыслящие существа, – пишет он в своих мемуарах, – предупреждаю вас, что нет ничего приятнее, как жить в государстве, правительству которого можно всегда сказать: приходите завтра ко мне обедать».

Вольтеру 60 лет, но до сих пор у него не было собственного жилища. Прошло более сорока лет со времени его вступления в «самостоятельную» жизнь, и большую часть этих лет он прожил гостем то французской и английской знати, то королей. В Сирее, правда, он был гостем любимой женщины, своего лучшего друга, но все же гостем. Теперь он – хозяин и не зависит больше ни от каких покровителей. Он, правда, радуется, зачисляя в письмах к близким друзьям в «нашу партию» то ту, то другую владетельную особу, вступившую с ним в какие-либо отношения. Но лично он уже не нуждается в них. Он извлекает из отношений с ними пользу для своих целей, они могут доставлять ему много удовольствия, но уже не могут огорчать его, и не огорчают.

Нельзя не поблагодарить Людовика XV за его упорное отвращение к своему знаменитому подданному. Если бы Вольтер поселился в Париже, то, окруженный толпой знакомых, раздражаемый врагами, запутанный в бесчисленные интриги, он никогда не достиг бы той независимости, силы и влияния, какими пользовался в своем уединенном поместье.

В противоположность всему предыдущему, полному приключений, существованию Вольтера, в его последующей жизни почти нет событий. С внешней стороны она проходит однообразно, в одной и той же местности близ Женевы: сперва в Делис, а потом в Фернее, из которого с начала 60-х годов он уже не выезжает до 1776 года. Но тем богаче последние десятилетия жизни Вольтера самой напряженной деятельностью, которой с избытком хватило бы на несколько недюжинных существований. «В

молодости надо наслаждаться, а в старости дьявольски трудиться», – говорил он друзьям, возводя в правило историю своей жизни. Этот «дьявольский труд» скоро принял у него определенный характер упорной, систематической борьбы с суевериями, жестокостями, несправедливостями всякого рода, со всеми остатками варварства, которые он назвал общим именем *Infâme*.

В самом начале этого нового периода жизни Вольтера встретилось несколько обстоятельств, повлиявших на направление его мыслей и деятельности.

Мы знаем, что в своих произведениях тридцатых и отчасти сороковых годов Вольтер проповедовал, что всё в мире обстоит благополучно. Но, очевидно, это убеждение было в нем не очень прочно, и уже к концу сороковых годов у него начинаются сомнения. Положим, зло в мире перемешано с добром, но оно, однако, существует, – как же объяснить его существование? Вопрос, всегда затруднявший всех деистов вроде Вольтера, отвергающих учение церкви, не верящих в будущую жизнь, но признающих всемогущее и всеведущее Провидение.

В романе «Задиг, или Судьба», написанном в 1747 году, герой после многих приключений, в которых зло было примешано к добру в таком количестве, что вызвало в нем недовольство Провидением, под конец беседует с Гением. Последний объясняет ему, что абсолютное совершенство, добро без всякой примеси зла, свойственно лишь жилищу Высшего Существа, что в остальных бесчисленных мирах должно царствовать разнообразие, в котором зло является необходимым элементом, ведущим к добру. Задиг, однако, не совсем удовлетворен речью Гения. «Но...» – начинает он излагать свои сомнения и не доканчивает, так как собеседник улетает, не слушая его возражений.

Еще большим сомнением отзывается написанная в 1750 году маленькая сказка «Мемнон», герой которой тоже терпит много невзгод и беседует с Гением. Для утешения Мемнона Гений сообщает ему, что среди ста тысяч миллионов существующих миров установлена постепенность; всё совершенно в первом из миров, во втором мудрости и счастья уже меньше, в третьем еще меньше, а в последнем господствует полное безумие. «Я боюсь, – замечает Мемнон, – что наша земля и есть этот сумасшедший дом Вселенной». – «Не совсем так, – отвечает собеседник, – но около того. Все должно быть на своем месте... Общий строй Вселенной совершенен». – «Ах! – возражает бедный Мемнон, которому недавно выкололи глаз, – я поверю этому тогда, когда перестану быть кривым».

Эта идея Болинброка и Поупа о разнообразии миров, из которых

состоит Вселенная, совершенная в целом, но совершенство которой непонятно нам, видящим лишь ничтожную часть целого, – позволяла Вольтеру примирять идею Высшего существа с существованием зла в мире.

Лиссабонское землетрясение 1 ноября 1755 года, превратившее большую часть города в развалины, под которыми погибло до 30 тысяч человек, разрушило то неустойчивое философское равновесие, в котором находился оптимизм Вольтера. «Вот ужасный аргумент против оптимизма, – пишет он Д'Аржанталю, – не поздоровится от него принципу Поупа „все хорошо“.» Несколько месяцев мысль об этих тысячах трупов, о мучительной агонии полураздавленных людей решительно не дает ему покоя. Утверждать, что «все хорошо», кажется ему теперь жестокостью, почти преступлением против несчастных лиссабонцев. «Поэма о бедствии Лиссабона» явилась страстным выражением этого настроения. Он зовет в ней всех тех, кто утверждает, что все к лучшему в мире, взглянуть на ужасную картину разрушенного города и ответить: зачем эти ужасы? Скажут ли они, что бедствие послано в наказание лиссабонцам? Но разве Лиссабон был преступнее Парижа, Лондона, а между тем «Лиссабон разрушен, а в Париже танцуют». Скажут ли философы, что землетрясение было необходимо в силу вечных законов природы? Но откуда берется их уверенность?

Лиссабонское землетрясение как будто вдруг открыло Вольтеру глаза и на другие страдания. Все чувствующие существа, все животные страдают и истребляют друг друга, а философы утверждают, что из этих отдельных страданий составляется общее счастье. «Весь мир и ваше собственное сердце вас опровергают, – говорит он им. – Зло существует на земле – это надо признать, хотя и невозможно объяснить его происхождение». Местами в этом страстном споре против своих собственных недавних мнений слышится что-то наивное: Вольтер восстает против землетрясения как против злой несправедливости, которую можно было не делать, которой не следовало делать. В нем как будто говорит то же чувство, которое несколько лет спустя заставит его так горячо восстать против юридических убийств Каласа, Ла Барра и прочих.

Тот же спор с оптимистами, но уже в более свойственной Вольтеру сатирической форме, продолжается в вышедшем три года спустя романе «Кандид, или Оптимизм». На этот раз действие происходит уже не в фантастической стране, как в предыдущих романах того же автора, и герой не беседует с гениями. Он – уроженец Вестфалии и воспитывается под руководством философа Панглоса, утверждающего, что все устроено как

нельзя лучше в этом лучшем из всех миров. Как с самим героем и его ученым руководителем, так и со всеми действующими лицами романа непрерывно случаются всевозможные бедствия вследствие войны, землетрясения, инквизиции, различных болезней, нападений пиратов и разбойников. Панглос, несмотря ни на что, даже чуть живой, продолжает восхвалять лучший из миров. В заключительной главе романа большая часть действующих лиц встречается в Турции. Здесь кончаются их приключения, но зато всех одолевает такая скука, что даже Панглос сознается, что всегда ужасно страдал, но, раз заявивши, что все превосходно, не желал отказаться от своего мнения. Они обратились к мудрейшему из всех турецких дервишей с вопросом: почему так много зла на земле? Вместо ответа дервиш спросил их в свою очередь: «Заботится ли Его Величество султан, посылая корабли в Египет, о том, удобно или неудобно на них мышам?» Это, в сущности, та же мысль Поупа и Болинброка о совершенстве Вселенной в ее целом, несмотря на видимые несовершенства, поражающие людей с их ограниченной точкой зрения. Ведь неудобства, испытываемые мышами, не могут помешать кораблю быть прекрасным кораблем, да только не с точки зрения мышей. Разница с прежним взглядом заключается лишь в том, что Вольтер находит теперь смешным игнорировать, ради философской стройности мирозерцания, эти слишком чувствительные – и людям, и мышам – неудобства плавания и отказываться называть их злом только потому, что не можешь объяснить происхождение зла.

«Будем работать, не рассуждая (о зле. – *Авт.*), – это единственная возможность сделать жизнь сносной», – говорит в заключение благоразумный Мартен, и с ним соглашаются все остальные действующие лица, принявшие обрабатывать приобретенный ими сад.

Хотя Вольтер тоже приобрел несколько садов и очень интересовался их устройством, он не мог, однако, по следовать благоразумному совету Мартена. Вопрос о зле остался для него, по его собственному неоднократному признанию, самым трудным из вопросов. Еще много раз будет он обращаться к нему, будет пытаться решать его то так, то иначе и до самой смерти не остановится окончательно ни на одном решении.

Еще во время пребывания Вольтера в Пруссии Дидро и Д'Аламбер начали издавать энциклопедический словарь, который должен был содержать сведения по всем отраслям человеческого знания, излагая их с точки зрения новой философии. Словарь предназначался для пропаганды этой философии среди людей, не имеющих времени, охоты или возможности приобретать основательные знания. Вольтер сразу понял,

каким прекрасным оружием в борьбе с предрассудками может быть такое издание. Устроившись «у ворот Женевы», он начинает усердно помогать этому делу. В письмах к Д'Аламберу он называет себя «слугой энциклопедии» и, посылая свои статьи, просит редакторов не церемониться с ними: урезать, прибавлять, изменять все, что хотят. «Я ношу вам свои камешки, чтобы вы помещали их в какие придется углы стены». Он получает также статьи для энциклопедии от некоторых ученых, членов протестантского духовенства Швейцарии, которые были не прочь в анонимных произведениях выразиться довольно «развязно», по выражению Вольтера. Он очень радуется, когда в 1756 году парламенты ссорятся с епископами. Это, по его мнению, отличное время для того, чтобы «начинить энциклопедию истинами; когда педанты дерутся – философы торжествуют». Но хотя между педантами и не было заключено мира, «начиненная истинами» энциклопедия была скоро запрещена, и издание возобновилось лишь в 1765 году.

Так рано прерванное дело успело уже, однако, сгруппировать вокруг себя все лучшие литературные силы вольнодумцев. Само запрещение издания и грозный литературный поход, предпринятый клерикальной прессой против нового направления, способствовали выделению «энциклопедистов» – как начали называть с этих пор сотрудников запрещенного словаря и их единомышленников – в особую партию, главою которой естественно стал Вольтер по своему возрасту, знаменитости и таланту. Такое положение придало ему новую энергию и внушило самые оптимистические надежды. «Чтобы опрокинуть колосса, достаточно пять-шесть сговорившихся между собою философов», – пишет он Д'Аламберу. «Дело не в том, чтобы мешать ходить к обедне, – спешит он определить размеры намеченной задачи, – а в том, чтобы вырвать отцов семейств из-под тирании и внушить дух терпимости. В этой великой задаче уже сделаны большие успехи».

Но, как ни велики эти успехи, – с конца пятидесятих годов и до самой смерти Людовика XV «дух нетерпимости» проявляется во всей силе. Книги, брошюры, даже простые предисловия к трагедиям подвергаются самому мелочному, придирчивому контролю и запрещаются в большинстве случаев. Этим достигается тот результат, что все большее и большее число произведений французской мысли печатается в Голландии, в Дрездене, в Швейцарии, и здесь эти запрещенные во Франции мысли высказываются с такою откровенностью, резкостью и озлоблением, которых не было и тени в напечатанных во Франции томах энциклопедии. Вышедшие за границу произведения массами провозились во Францию, и здесь те экземпляры,

которые попадали в руки властей, сжигались у подножия лестницы парламента. Впрочем, нет. По свидетельству современников, парламентские советники, поговаривавшие в шестидесятых годах, что мало сжечь книги, что следовало бы сжечь также и авторов, разбирают произведения этих вредных авторов для своих библиотек, а в костры бросаются для виду связки старых бумаг из архива.

Главную массу этого рода произведений поставлял Вольтер. Прежде чем приняться за систематическую пропаганду, он постарался возможно лучше обезопасить себя. Кроме Делис, он владел загородным домом близ Лозанны, а в 1758 году приобрел еще Ферней – дворянское имение на французской территории, близ самой границы, в двух часах ходьбы от Женевы. «Я так устроил свою судьбу, – говорит Вольтер в своих мемуарах, – что могу считать себя одинаково независимым в Швейцарии, на женевской территории и во Франции... Не думаю, чтобы какое-нибудь частное лицо в Европе имело такую свободу, как я».

Начнись в самом деле преследование во Франции, он оказался бы в своем женевском поместье, а не поладив с женеvцами, мог бы без затруднений перебраться в Лозанну. Недалеко было и до Невшателя, принадлежавшего Фридриху, с которым он помирился еще в 1757 году.

Запасшись столькими убежищами, Вольтер чувствовал себя в безопасности и мог приняться за работу. Но «сговориться» разделить литературный труд, работать заодно Вольтеру было все-таки не с кем. Лучшие силы разраставшегося философского движения все более и более склонялись к полному материализму и устраняли из своих рассуждений идею Творения и Провидения. Вольтер же был решительным противником этого учения, считая его не только ложным, но еще и вредным по своему влиянию на читателей-нефилософов. Жан-Жак Руссо, влияние которого быстро росло, был деистом. Вольтер очень ценил его «Исповедь Савойского викария» и даже не раз сам перепечатывал ее для контрабандного распространения. Зато все другие взгляды этих двух писателей были настолько противоположны, что если б у них и не возникло личной вражды, которой нам придется еще коснуться, между ними все-таки не могло бы существовать, имея в виду общего врага, даже того ограниченного союза, которого держался Вольтер по отношению к материалистам.

Недостаток сотрудников Вольтер старался заменить удешевленной производительностью и разнообразием форм и даже тона своих произведений. Под различными псевдонимами, то выдавая их за переводы с английского, то приписывая умершим писателям, а иногда и

вымышленным духовным лицам, Вольтер с начала шестидесятих годов наводняет своими изданиями Францию и главнейшие центры читающей по-французски Европы. Одной из его излюбленных форм для этого рода произведений были философские словари, маленькие карманные энциклопедии, которых он издал несколько. Здесь в коротеньких статейках под заглавиями «Аббат», «Атеизм», «Бог», «Добро», «Душа» и прочих, размещенных в алфавитном порядке, Вольтер излагает все свои взгляды: бранит духовенство, доказывает бытие Божие, спорит с атеистами, обсуждает с различных сторон вопрос о зле в мире, излагает идеи Локка, разбирает Священное Писание – словом, не оставляет незатронутым ни одного из занимающих его вопросов. Рядом с этим, в других изданиях те же вопросы разбираются в связном изложении философских трактатов. Иной раз, под псевдонимом какого-нибудь духовного лица, они излагаются в виде проповеди или поучения. Но самой удачной, самой живой формой рассмотрения все тех же вопросов являются у Вольтера диалоги. Иногда разговор касается только одного предмета, чаще разговаривающие перебирают их чуть ли не все. Собеседники бывают самые разнообразные: в одном диалоге монах Риголо разговаривает с китайским императором, которого старается обратить в свою веру и смешит своими аргументами.

Китайцы всегда играют у Вольтера роль мудрецов, и император является представителем мнений автора. По временам собеседниками оказываются древние философы, или Марк Аврелий, пришедший с того света взглянуть на свой родной Рим, разговаривает со встреченным им монахом. Разговор между Лукианом, Эразмом и Рабле происходит уже прямо на Елисейских полях, где два новейших сатирика знакомят древнего римлянина с теми условиями, при которых им пришлось писать свои произведения. А там Вольтер вдруг переносит нас на «Обед графа Буленвилье», где целая компания живых, современных ему французов: граф, графиня и один из гостей, – в длинном споре с другим гостем, аббатом, разбирают Библию, пересматривают догматы церкви, излагают учение деистов и доводят под конец аббата до понимания, что он совершенно с ними согласен. На этот раз автор рисует с натуры. По всей Европе и в особенности во Франции за долгими поздними обедами светские люди вели тогда разговоры о философских и научных вопросах, а чаще всего о религии («при лакеях», – с негодованием замечает Орас Уолпол, излагая в письме к другу свои парижские впечатления). При этом между вымышленными лицами в «Диалоге» Вольтера и действительными знакомыми Уолпола, с которыми он обедал в 1765 году, та разница, что граф Буленвилье и его гости – деисты и горячо проповедуют

существование Бога, а знакомые Уолпола – отъявленные атеисты, среди которых сам Вольтер считается отсталым. «Вольтер – ханжа: он деист», – говорила о нем Уолполу одна дама. Этот обычай вести в обществе разговоры теоретического характера, о котором упоминается во множестве современных мемуаров и писем, был, вероятно, причиной того обстоятельства, что писатели XVIII века так часто прибегали к форме диалога для изложения своих взглядов.

Главное место во всей этой обширной контрабандной литературе занимает у Вольтера разбор Библии, догматов, истории церкви и поведения духовенства. Вольтер издал даже со своими примечаниями перевод большей части исторических книг Ветхого Завета, производивший тем большее впечатление, что сама Библия была недоступна большинству читателей-католиков, так как допускалась лишь в латинском переводе.

Морлей совершенно справедливо замечает, что Вольтер разбирает Священную историю точно так же, как если бы разбирал произведение современного историка. Он основательно изучил и Библию, и древнюю христианскую литературу. Многие из его библиогностических замечаний подтверждаются позднейшими изысканиями в этой области, но у него нет и тени спокойного исторического отношения к предмету, свойственного английским и немецким исследователям. Впрочем, та сторона католицизма, с которой по преимуществу боролся Вольтер: дух нетерпимости, преследования, жестокости, – вовсе не была в современной ему Франции явлением, отошедшим в область истории, каким был он для английских критиков XVIII и немецких – XIX века. Этот дух был еще настолько жив в отечестве Вольтера, что мог порождать, как увидим из дела Ла Барра, чисто средневековые зверства.

Вольтер не только исследует творения библейских писателей, он с ними своеобразно полемизирует, как со своими литературными противниками: острит, негодует, ловит их на противоречиях. Он старательно подбирает аргументы, чтобы доказать невозможность даже таких библейских событий, в которых нет ничего чудесного, и приходит в восторг, если случайно наталкивается на аргумент, которого раньше не знал. Характерен в этом отношении рассказ о посещении его знаменитым скульптором Пигалем, приехавшим в Ферней, чтобы сделать статую хозяина замка. Вольтер не соглашался позировать, уверял, что раз у человека нет лица (от худобы), нельзя делать его статуи, и нарочно гримасничал и шевелился, едва гость принимался за работу. Но вот случайно зашла речь об отливке статуй, и Пигаль заметил, что эта операция требует довольно продолжительного времени. Такой аргумент против

золотого тельца, на отливку которого, по мнению Пигаля, понадобилось бы полгода, так обрадовал Вольтера, что в благодарность он отдался в полное распоряжение художника, и модель статуи была благополучно окончена. То же своеобразное, полемическое отношение к Библии выражается у Вольтера и в насмешках над теорией, по которой моря покрывали когда-то современные материки и даже горы. В пользу этой теории приводили то соображение, что на горах находят окаменелости рыб и морские раковины. «Но не проще ли, – спрашивает Вольтер, – предположить, что рыб занесли на горы путешественники, а относительно раковин стоит только вспомнить, как много приносилось их с берегов Сирии крестоносцами и пилигримами». Вольтер не знаток в этой области, и, вообще говоря, он не любит рассуждать о том, чего не знает, но этой теории он не мог не преследовать, потому что она напоминала ему о потопе. Старательно критикуя библейские события, он в то же время так сжился с Библией, что относился далеко не хладнокровно и к библейским личностям. К одним он чувствовал вражду, другим покровительствовал. Царя Давида он ненавидел всей душой, а Саула горячо защищал против несправедливостей Самуила. К Соломону у него было двойственное отношение: порицая его за некоторые поступки в начале царствования, он, в общем, относился к нему хорошо и даже называл Фридриха «Соломоном Севера» в разгар «величайшей» дружбы с прусским королем. «Экклезиаста» и «Песнь песней» он перевел стихами, приложив также и подстрочный перевод подлинника.

Собственная философия Вольтера, изложение его положительных взглядов не так велико. Хотя в полном собрании сочинений этого автора оно занимает довольно значительное место, но это происходит от многочисленных повторений в разных сочинениях одних и тех же положений, часто подтверждаемых одними и теми же аргументами. Друзья указывали Вольтеру на эти повторения. «Да, да, – отвечал он, – повторяюсь и буду повторяться, пока люди не исправятся». Он не любил делать вторых изданий своих мелких произведений, а коль расходилась одна брошюра, писал другую на ту же тему, – в другой форме, но с тем же содержанием, изменяя его лишь по некоторым вопросам: о зле в мире, о душе, о нравственности, о наградах и наказаниях Божеством человека. По этим вопросам Вольтер не только меняет свои взгляды, но непрерывно противоречит себе, и не раз в двух произведениях, изданных непосредственно одно после другого, под разными псевдонимами, говорит противоположные вещи.

Вольтер – не систематический мыслитель, а по преимуществу борец,

пропагандист и, пожалуй, учитель. Для него практические выводы из теоретических положений часто дороже самих положений. Для него в высшей степени важны тактические соображения о том, как отразится данная мысль в умах последователей, как отзовутся на нее противники двух противоположных направлений: клерикалы и атеисты, не считая Ж.-Ж. Руссо и его последователей, стоящих в стороне от тех и других. Не следует давать противникам никакого оружия в руки; нужно, освобождая читателей из-под авторитета духовенства, предохранять их в то же время от атеизма. Эти правила, несомненно, руководят Вольтером в его пропагандистской деятельности. Поэтому не всегда можно легко и с уверенностью сказать, что в этой массе контрабандных произведений высказывается автором лишь потому, что таково его искреннее убеждение, а что говорится по тем или другим тактическим соображениям. Некоторым пособием в этом отношении может для нас служить одно произведение, стоящее совершенно особняком от других, – это «Трактат о метафизике», написанный еще в Сирее и составляющий первое цельное изложение философских взглядов Вольтера. Он не предназначался для печати, а исключительно для одной только г-жи Дю Шатле, и действительно не был напечатан при жизни автора. На его содержание не могли влиять никакие посторонние соображения. Можно поэтому с уверенностью сказать, что взгляды, перенесенные из этого сочинения в фернейские произведения Вольтера, составляют его действительные убеждения. Хотя никоим образом нельзя заключать об обратное, что все мнения, отличающие фернейские произведения от «Трактата о метафизике», высказывались лишь под влиянием тактических соображений: между «Трактатом» и этими произведениями прошло около тридцати лет, и взгляды автора могли, естественно, измениться.

Уже в этом сирейском произведении Вольтер приводит свои два главных доказательства бытия Божия, которые неизменно повторяет и впоследствии: всё в природе устроено разумно, во всем заметна целесообразность, – следовательно, мы должны заключить, что всё в ней устроено высшим разумным существом с мудрыми целями. «Из одного этого, – говорит Вольтер, – я не могу еще заключить, что высший разум, так искусно устроивший материю, создал ее из ничего, – не могу заключить о его бесконечности.» К этим заключениям нас приводит другой аргумент: «Я существую, значит, нечто существует, а так как ничто не может само себе дать существования, – следовательно, все получило его от одного вечно существовавшего Бытия, которое и есть Бог. Из этого же необходимо следует, что Бог бесконечен во всех отношениях, так как что же может

ограничить его?» Он и здесь уже говорит об атеистах, но спорит с ними только по существу, совсем не затрагивая вопроса о вреде их учения. Вольтер вообще придерживался того мнения, что прогресс знания подрывает атеизм, заставив, например, повсюду признать существование зародышей вместо прежнего представления о происхождении низших организмов из гниющих веществ. Он думал, что философия Декарта, с ее отсутствием пустоты в природе, с ее вечностью и бесконечностью материи, легче допускала возможность обходиться без идеи Творца, чем философия Ньютона с ее пустотой, атомами и конечностью материи. Он был убежден, что Ньютон, взгляды которого он популяризировал, докажет существование Бога французским «мудрецам». Поэтому до появления на сцене во второй половине XVIII века материализма, признававшего основные положения Ньютона и тем не менее отбросившего идею Творца, атеисты не беспокоили Вольтера.

Те мысли «о душе», которые были высказаны Вольтером в «Английских письмах», почти с буквальной точностью повторяются и в «Трактате о метафизике». В этом отношении Вольтер всегда остается верен своему учителю Локку. По вопросу о свободе воли он и в «Трактате», и в написанных тоже в тридцатых годах «Основах философии Ньютона» признает за ней свободу «безразличия». Под влиянием страстей или сильных внешних импульсов воля несвободна, но в совершенно спокойном состоянии человек может по произволу выбирать между несколькими действиями. Здесь он отступает от Локка, но впоследствии, очевидно, глубже вдумавшись в этот вопрос, уже всегда – согласно с Локком – настаивает на том, что наша свобода заключается в возможности делать то, что хотим, но никак не в свободе хотеть или не хотеть. Наши желания всегда имеют достаточную причину в той или другой идее, идеи же в нас произвольны. Свобода безразличия, то есть беспричинного выбора, – бессмыслица.

На вопрос, как согласить идею всемогущего и всеведущего Бога с существованием в мире зла нравственного и физического, Вольтер в «Трактате о метафизике» отвечает, что мы не имеем иного понятия о добре и зле, о справедливости и несправедливости, кроме того, которое составили себе о действиях полезных или вредных для общества и сообразных или несообразных с теми законами, которые сами установили. Это идея отношений между людьми, которая совершенно неприменима к понятию о Боге. Говорить, что Бог несправедлив, потому что пауки едят мух, а люди живут только 80 лет, совершенно бессмысленно. Мысль об относительности понятий о добре и зле Вольтер развивает дальше в главе

«О добродетели и пороке». Для существования какого бы то ни было общества, говорит он, необходимы законы, – даже для игры необходимы те или другие правила. Существующие законы чрезвычайно разнообразны. В одних странах они наказывают за то, что дозволено в других, и наоборот.

«Все народы согласны лишь в одном: называть *добродетелью* дозволенное их законами и *пороком* – запрещенное... Добродетель есть привычка делать то, что нравится окружающим людям; порок – привычка делать то, что не нравится, а нравятся людям поступки, полезные обществу... Меня могут спросить, – продолжает Вольтер, – добро и зло, добродетель и порок существуют, следовательно, не сами по себе, а лишь по отношению к нам? Да, так же точно, как сладкое и горькое, теплое и холодное существуют не сами по себе, а по отношению к нам. Тогда, скажут иные, если нам выгодно убивать, красть, нас ничто не удержит. Я могу ответить этим людям только одно: они, вероятно, будут повешены».

Во всех этих рассуждениях Вольтер является точным последователем Гоббса и Локка, популяризовавшего мысли Гоббса об относительности наших нравственных понятий.

А вот что говорит наш автор в трактате «Le philosophe ignorant» [\[2\]](#), написанном в 1766 году, обращаясь к тому же Гоббсу: «Напрасно удивляешь ты читателей, почти успевая доказать им, что все законы условны, что справедливо и несправедливо лишь то, что условлено называть таковым в данной стране». Вольтер соглашается, что трудно с точностью определить границы между справедливым и несправедливым, как между слабыми оттенками цветов; но главные цвета бросаются в глаза так же точно, как и главные нравственные понятия. Это изменение взгляда на нравственность находится в тесной связи с явившимся у Вольтера в шестидесятых годах третьим доказательством бытия Божия, на котором он настаивает теперь едва ли не больше, чем на двух первых. «Важнее метафизических споров, – говорит он в „Философском словаре“, – будет взвесить, не необходимо ли для общего блага нас, несчастных мыслящих тварей, признать существование *карающего* и *награждающего* Бога, Который бы служил для нас уздою и утешением?» Вольтер находит, что это совершенно необходимо. Общество атеистов может существовать, по его мнению, лишь в том случае, если оно состоит из одних философов, при этом людей богатых, любящих спокойствие и избегающих трудов и опасностей, сопряженных с занятием общественных должностей. Но как для народа — для бедняков, так и для лиц, занимающих какие бы то ни было должности, вера в карающего и награждающего Бога необходима: это единственная гарантия против тайных преступлений, избегающих

людского правосудия. «Если бы Бэйлю (утверждавшему, что общество атеистов может существовать) пришлось управлять пятью– или шестьюстами крестьянами, он не замедлил бы возвестить им награждающего и карающего Бога». С другой стороны, «я не желал бы иметь дела с правителем-атеистом, который нашел бы для себя выгодным истолочь меня в ступе: я совершенно уверен, что был бы истолчен», – утверждает Вольтер. Иметь дело с фанатиком, разумеется, еще того хуже, – тот если не истолчет, то сожжет человека уже без всякой выгоды, и спастись от него гораздо труднее. Но во всяком случае гибельны обе крайности. Спасение в одном деизме, или теизме, как безразлично называет Вольтер свою религию.

Вольтер утверждает теперь, что мораль одна у всех людей, – иногда он прибавляет: у всех разумных, размышляющих людей; иногда же не делает никаких исключений, но тогда сводит эту мораль к единственному правилу: «Не делай другим того, чего не желаешь, чтобы делали тебе другие». Расширяя, таким образом, общечеловеческую мораль, Вольтер не находит, чтобы ей противоречил даже обычай некоторых дикарей съедать своих старых отцов, – обычай, приводимый Локком в пример крайнего разнообразия относительности людских понятий о справедливости. Дикарь, съедающий отца, думает Вольтер, желает, вероятно, быть в свою очередь съеденным своими детьми, когда слишком состарится и полная опасностей жизнь дикаря станет ему в тягость. Иногда Вольтер приводит, впрочем, два-три примера определенных нравственных истин, признанных всем человечеством, и тогда мы с удивлением встречаем среди этих примеров следующий, поражающий своим субъективизмом: «Если я потребую у турка, гебра или жителя Малабарского берега данные им займы деньги... все они согласятся, что справедливость требует их заплатить...» («Phil. ignorant»). Невольно вспоминается, что Вольтер никому ничего не был должен, но имел очень неисправных должников, вроде герцога Вюртембергского.

Относительно способа наказания Божеством человека, Вольтер противоречит себе в различных произведениях, по-видимому, умышленно. В «Проповедях» («Homélie»), изданных в 1767 году от имени английских духовных лиц, доказывается необходимость будущей жизни. Добродетельные люди часто страдают в этой жизни, и божественная справедливость осталась бы неудовлетворенной, если бы их не ждала награда за гробом. Но в «Диалоге между А., В. и С.», изданном вскоре после «Проповедей», мы находим рассуждения, расходящиеся с мнением благочестивых пасторов. «Вечный принцип так устроил вещи, – говорит А.,

представитель мнений автора, – что, если моя голова хорошо организована и мой мозг не слишком сыр и не слишком сух, я имею мысли, за что и благодарен от всего сердца». И далее. «Понятие об отдельной от тела душе, – говорит тот же А., – явилось следствием несчастной привычки принимать слова за реальные существа, чему в древности немало способствовал Платон своим философским жаргоном».

В «Истории Женни», романе, выданном автором за произведение английского теолога Шерлока, одно из действующих лиц говорит своему сыну, сделавшемуся атеистом и отчаянным негодяем, что нельзя быть уверенным в полном исчезновении вместе с жизнью того, что в нас мыслит и желает и что называли когда-то монадой. Бог может сохранить монаду после смерти и поступить с нею сообразно с ее поведением при жизни. Но в следующем же произведении, где заходит речь о том же предмете, в диалоге «Софроним и Аделос», Вольтер говорит устами Софронима, разделяя его точку зрения.

Упорное подчеркивание Вольтером *полезности* веры не раз служило поводом к заподозриванию фернейского философа в том, что, в сущности, он не верит в Бога, а лишь «изобретает» его согласно знаменитой фразе из одного направленного против атеистов стихотворения. Но стоит вчитаться в произведения Вольтера, чтобы убедиться в том безусловном, решающем значении, какое имело для него телеологическое доказательство бытия Божия. Он не допускал и мысли о возможности движения, развития, присущих *самой* материи. Она представлялась ему неподвижной, мертвой, бесформенной массой, над которой оперирует действующая по плану внешняя разумная сила, вносящая в материю порядок, дающая ей форму и сообщающая движения. Часовщик, архитектор со своими результатами деятельности представляют для Вольтера полнейшую аналогию с творящей силой и материей. «Природы нет, – твердит он в своих произведениях, – а существует лишь искусство. Каждая соломинка свидетельствует о создавшем ее великом художнике». Тем же дуализмом проникнуты и его социальные и политические взгляды. Народ для него – та же неподвижная, бесформенная масса. Думать за нее, давать ей ту или другую форму могут только высшие, образованные классы. До сих пор масса была зла и фанатична, потому что подражала направлявшему ее духовенству. Когда высшие классы будут состоять из деистов, их терпимость и благожелательность сообщатся и массам посредством при мера с их стороны и подражания – с ее.

Вера в Творца и устроителя Вселенной лежала в самой основе мирозерцания Вольтера; зато относительно всех других вопросов,

соприкасающихся с этой верой, он находился, по-видимому, в том положении, которое выразил в словах А. в упомянутом нами диалоге: «Относительно всего остального (кроме существования Бога) я брожу ощупью, в потемках. Сегодня я утверждаю явившуюся у меня идею, завтра я сомневаюсь в ней, послезавтра я отрицаю ее. Все добросовестные философы, – добавляет А.,– выпивши немного, сознавались мне, что находятся в том же положении». Далее тот же А. поясняет до некоторой степени и отношение Вольтера к вопросу о «полезности». На возражения С., не допускающего, чтобы всемогущий Творец стал наказывать созданные им существа, которые по необходимости совершенно бессильны в его руках, А. отвечает: «Знаю я все, что можно сказать об этом темном предмете, но я об этом не рассуждаю».

Вольтер и Руссо, имена которых так тесно связаны в умах потомства, гробы которых народный энтузиазм поставил рядом в Пантеоне, а кости реакция выбросила в одну яму, были при жизни непримиримыми врагами.

Уже первое произведение Руссо, обратившее на него внимание публики, «Речь о влиянии наук и искусств», должно было показать в нем Вольтеру человека диаметрально противоположных с ним взглядов по одному из самых существенных вопросов. В 1755 году Руссо прислал ему свое второе произведение – «Речь о неравенстве между людьми», – еще резче, в более широкой области, расходившееся со взглядами Вольтера. Дикари, являющиеся у Руссо единственными нормальными представителями человеческого рода, были для Вольтера просто «животными, еще недоразвившимися до человека... Это гусеницы, которые не сделаются бабочками раньше нескольких столетий» («Dial. entre A., V., S.»). Вольтеру было тем легче оставлять гусениц за пределами человечества, что он не признавал единства человеческого рода и находил, что приписывать общих предков неграм, краснокожим и европейцам так же неосновательно, как было бы неосновательно предположить, что те деревья, которые застали в Америке первые переселенцы из Европы, не были непосредственным продуктом американской почвы, а произошли от какого-то одного дерева, когда-то выросшего в Старом Свете. Этот взгляд на дикарей не мешал, впрочем, Вольтеру возлагать на них иногда (в некоторых диалогах и отчасти в романе «L'ingénu» ^[3]) обязанность побивать своими аргументами бакалавров теологии и священников. Восхваление дикарей было в глазах Вольтера только нелепо, но мнение Руссо о собственности как источнике всех бедствий и преступлений человечества возбуждало его негодование. Для Вольтера уважение к собственности было, наоборот, одним из немногих нравственных правил,

одинаково свойственных всему человечеству.

Тем не менее всегда отвечавший любезностью на любезность, Вольтер письмом поблагодарил Руссо за присылку «Речи», коснувшись ее содержания, правда, в шуточной, но, в сущности, лестной форме. «Никогда еще, – писал он, – не было потрачено столько ума на попытку вернуть людей к глупости. Читая вашу книгу, чувствуешь желание пойти на четвереньках. Но шестидесятилетняя привычка заставляет меня предоставить это естественное положение людям, более достойным его, чем мы с вами». И тут же он спрашивает Руссо о здоровье и приглашает к себе в Делис «пощипать нашей травы». Руссо, со своей стороны, почтительно благодарит за это письмо Вольтера, называя его «нашим общим учителем». Он и впоследствии, уже поссорившись, признавал, что сочинения Вольтера имели на него некоторое влияние. «Он сам не думает, но заставляет думать других», – говорил Руссо о фернейском философе.

Обмен любезных писем давал Руссо некоторое право обратиться к Вольтеру по поводу его «Поэмы о бедствии Лиссабона» с частным письмом, в котором он восстает против пессимизма автора поэмы и защищает мир и его Творца от возведенных на них обвинений. Руссо сам обращает внимание на странность того обстоятельства, что из них двоих оптимистом является он, бесприютный бедняк, а пессимистом – богатый, знаменитый, обладающий громадным талантом и влиянием Вольтер, имеющий, казалось бы, всё для того, чтобы быть счастливым.

Но, в сущности, эта перемена ролей была только кажущейся, и пессимизм Вольтера был гораздо поверхностнее недовольства Руссо. Этому последнему не нужно было землетрясений, чтобы убедиться в существовании зла в мире; только видел он его не там, где Вольтер. Мир был для него прекрасен, несмотря на землетрясения и на то, что ласточка ест червяков, а коршун – ласточку. С этим можно помириться. Неизмеримо больше зла в людских отношениях, в том, что «горсть людей утопает в излишествах, когда голодная масса нуждается в необходимом» («De l'inégalité...»). Но это зло люди сами создали; из рук Творца они вышли равными и счастливыми.

Пессимизм землетрясений и коршунов совершенно безнадежен – что тут поделаешь? – но в то же время и совершенно бесплоден. Он может дать тему для двух-трех художественных произведений, но на нем нельзя остановиться на продолжительное время. И Вольтер скоро оставил его в покое, вспоминая время от времени лишь по поводу «происхождения зла на земле». Вольтер, как мы знаем, не задавался слишком широкими и далекими целями. Нужно добиться уничтожения влияния духовенства на

правительственные учреждения, свободы убеждений для мыслящих людей – вот главная задача. «Величайшая услуга, которую можно оказать человеческому роду, – пишет он в 1765 году Д'Аржанталю, – заключается, по моему мнению, в том, чтобы отделить глупый народ от порядочных людей, и мне кажется, что это дело значительно подвинулось. Нельзя выносить нелепого нахальства людей, которые говорят нам: „Я хочу, чтобы вы думали так же, как ваш портной и ваша прачка“.» В таких размерах задача была действительно близка к осуществлению. Огромное большинство дворянства, значительная часть буржуазии уже принадлежала к «порядочным» свободомыслящим людям, – «нелепое нахальство» не могло быть продолжительным. Фанатизм, правда, еще показывал когти, и к главной задаче у Вольтера скоро присоединилась борьба с безобразным судопроизводством старых парламентов, но и тут успехи следуют за успехами, победа возможна и даже близка.

По существу же современный общественный строй, кроме некоторых подлежащих отмене средневековых законов, вполне удовлетворителен, и в главных, основных чертах все в нем должно оставаться по-прежнему: просвещенные богатые господа – богатыми господами; глупый народ – народом, а лакеи – лакеями. Современный строй казался ему старчеством человеческого рода. Молодость человечества лежала позади, по крайней мере для народов, уже цивилизованных. Что еще возможно, так это задержать успехи старчества в особенности там, где его проявления – утонченность нравов и неравенство состояний – сравнительно еще невелики, как, например, в его родной Женеве.

Письмо в защиту Провидения не понравилось Вольтеру, и он уклонялся от ответа, сославшись на нездоровье. Это уже обидело очень обидчивого Руссо. А Вольтер между тем, будучи страстным любителем театра, принялся ставить у себя спектакли, на которые рвались женеvцы, несмотря на запрещение Кальвина. Наличие такого соблазна для его соотечественников до глубины души возмущало Жан-Жака, который считал театр лучшим средством портить нравы, развивать в людях вкус к роскоши и отдалять их от чуждой театру массы. Копия с его письма к Вольтеру попала в руки бдительных хищников-издателей и была напечатана. Вольтер мог подумать, что напечатал ее сам Руссо, и последний счел нужным оправдываться, но воспользовался этим случаем, чтобы выразить Вольтеру новые для него чувства: «Я не люблю вас, милостивый государь», – так начинается он свое письмо, и, перечисливши вины Вольтера: развращение женеvцев, внушение им недобрых чувств к нему, Руссо, и прочее, – он опять повторяет, что ненавидит Вольтера, которого когда-то любил. На это

признание в ненависти не последовало ответа, но в письмах к друзьям Вольтер называл уже Руссо не иначе как сумасшедшим. «Новую Элоизу», поразившую общество, которое свело любовь к забаве, своей глубокой страстностью, он нашел неизмеримо скучной и подверг самой беспощадной критике. В 1762 году «Эмиль» и «Общественный договор» Руссо сжигаются сперва в Париже, а затем – в Женеве. Бежавшего автора вскоре изгоняет также Бернское правительство, и он находит временное убежище лишь в невшательских владениях Фридриха II. Узнав о бедственном положении Руссо, Вольтер через общих знакомых опять зовет его к себе и обещает приют и безопасность. Но вскоре до него доходят слухи, что Руссо в письмах и разговорах обвиняет его в подстрекательстве к тем преследованиям, которым он подвергся со стороны Женевского и Бернского правительств. Такое тяжелое обвинение было более чем несправедливо. Вольтер помогал, наоборот, сторонникам Руссо, пытавшимся в Женеве добиться отмены направленного против него приговора. Затем окончательно и бесповоротно Руссо восстановил против себя Вольтера, назвав его печатно автором некоторых из тех контрабандных произведений, которые тот приписывал умершим или вымышленным личностям. После такого поступка Вольтер отбросил всякую сдержанность и уже не щадил красок на изображение Руссо. Придуманная им генеалогия, по которой характер автора «Эмиля» объяснялся его происхождением от собаки Герострата, встретившейся с псом Диогена, принадлежит еще не к самым злым выходкам Вольтера против Руссо. Из них двоих первый громче, чаще и резче нападал на противника, но как инициатива вражды, так и избыток ненависти принадлежали, в сущности, последнему.

Глава VI

Дела Каласов, Сирвенон и прочих. – Казнь Ля Барра. – Ферней и его жители. – Гости и переписка. – Отъезд в Париж. – Овации. – Болезнь и смерть. – Приключения после смерти.

9 марта 1762 года в Тулузе был колесован по приговору парламента старый гугенот Жан Калас, обвиненный в убийстве родного сына с целью помешать его переходу в католичество. Уже первые известия об этом деле произвели сильное впечатление на Вольтера. «Совершено страшное преступление, – пишет он одному знакомому, – только кем? Отцом-гугенотом или восемью судьями, колесовавшими невинного?» Он настойчиво требует от своих корреспондентов самых обстоятельных сведений об этом деле; знакомится с бежавшими в Женеву остатками семьи Каласа и вскоре пишет друзьям, что преступление совершено именно судьями и что он так же убежден в невинности Каласов, как в своем собственном существовании. По собранным им сведениям, самоубийство сына ясно, как день. Во всем деле нет ни малейших оснований не только для обвинения, – даже для простого подозрения в убийстве. Но достаточно было кому-то в толпе, собравшейся посмотреть на снятое с петли тело самоубийцы, высказать предположение, что старик сам повесил сына, и это предположение повторяется толпой, приобретает среди враждебно настроенного католического населения достоверность факта и действует на судей.

Убедившись в невинности Каласов, Вольтер взял на себя их защиту и не знал ни минуты покоя, пока не добился их оправдания. Прежде всего он пытается заставить судей опубликовать те факты, на которых основан их приговор. «Они говорят, что это не в обычае. А! Чудовища! Так мы же добьемся того, что это делается обычаем», – пишет он д'Аржанталю. «Калас колесован, – этого не изменишь; но можно опозорить его судей, чего я им и желаю». Он пишет и публикует мемуары в защиту Каласов; приискивает им адвокатов и руководит этими адвокатами; старается заинтересовать их делом министра, фаворитку, всех своих высокопоставленных знакомых. Он помогает материально несчастной семье и побуждает помогать других.

Парламенты отнеслись вначале очень презрительно к поднятому Вольтером шуму. «Один советник парламента сказал на днях адвокату Каласов, – пишет в январе 1763 года Д'Аламбер Вольтеру, – что его

прошение не будет принято, *потому что во Франции судей больше, чем Каласов*. Вот они каковы, отцы отечества!» Но почтенные отцы отечества жестоко ошиблись в своих расчетах. Каласов, то есть людей, им сочувствовавших и возмущавшихся приговором, было уже больше, чем парламентских советников. Скоро благодаря усилиям Вольтера вся Франция, вся читающая Европа превратилась в приверженцев Каласов. Понадобилось, однако, целых три года, чтобы добиться пересмотра процесса.

Наконец «высший суд» в Париже признал невиновность казненного гугенота и его семьи. «Эту победу одержала философия!» – радостно пишет Вольтер Д'Аржанталю по поводу оправдания.

Но у фернейского патриарха были уже на руках и другие процессы. Еще агитация по делу Каласов была только что начата, когда аналогичное дело привело под защиту Вольтера семью Сирвенос, заочно приговоренных к смерти за убийство своей, похищенной у них, сведенной в монастыре с ума и утопившейся в припадке безумия, дочери. После восьмилетних неутомимых усилий Вольтер добился пересмотра и отмены приговора также и по этому делу.

Рядом с громкими победами посредством агитации неутомимому патриарху нередко удавалось также освобождать втихомолку, при помощи личных связей с влиятельными лицами, гугенотских проповедников, отправляемых на галеры в силу исключительных законов, под которыми жили французские кальвинисты со времени отмены Нантского эдикта.

И не одних гугенотов защищал Вольтер; «судьба», или, вернее, слава, приобретенная им в качестве защитника Каласа, сделала Вольтера, как он говорит в «Мемуарах», «адвокатом всех проигранных дел». Ферней превратился в особого рода трибунал, где пересматривались все сомнительные смертные приговоры. Вследствие тайны тогдашнего судопроизводства дела доходили до Вольтера в большинстве случаев уже после совершения казней, и ему удавалось спасти лишь память казненных, их семьи и второстепенных обвиненных. Но на процессе супругов Монтабелли, обвиненных в убийстве матери «на таких основаниях, – говорит Вольтер, – которые показались бы смешными даже судьям Каласов», ему удалось спасти от костра жену Монтабелли, сожжение которой было отложено до разрешения ее от бремени.

Но в самом ужасном из процессов того времени Вольтеру не удалось при жизни одержать победу. На этот раз со стороны судей не было ошибки, хотя бы и вызванной религиозными предубеждениями, а было сознательное злодейство янсенистов, стремившихся доказать, что с

изгнанием их врагов-иезуитов религия защищается лучше прежнего. В августе 1765 года в Аббевиле было поцарапано ножом стоявшее на мосту деревянное распятие. Молва указала на двух юношей, Ла Барра и Эталонда, одного шестнадцати, другого семнадцати лет, обративших на себя внимание публики тем, что однажды не стали на колени, когда мимо них проходила церковная процессия. Началось следствие. Эталонд успел бежать. Ла Барр был арестован. Павшее на них подозрение относительно порчи распятия не подтвердилось на следствии, но было доказано, что юноши непочтительно отзывались о церкви и духовенстве, знали наизусть отрывки из «Пюсель» и раскланивались – «шутя», как показал на допросе Ла Барр, – перед столом, на котором были разложены преследуемые книги, в том числе «Философский словарь» Вольтера. Этих-то детских преступлений было достаточно в глазах судей, чтобы приговорить Ла Барра, во-первых, к пытке с целью получения указаний на виновников порчи распятия, затем – к «казни отцеубийц»: сожжению живым после предварительного отрезания языка. К тому же приговорен был заочно и Эталонд. Мужественно вынес Ла Барр ужасные пытки, никого не назвав. Казнь над ним была совершена лишь с тем смягчением, что тело было брошено в огонь после обезглавливания. Вся читающая Европа содрогнулась от ужаса и негодования при известии об этой казни. У несчастного мальчика были бесчисленные сообщники. Среди французского дворянства, к которому принадлежал он, почти не было невиновных в тех преступлениях, за которые он погиб. Юноша только подражал окружающим.

«Я стыжусь принадлежать к этой нации обезьян, так часто превращающихся в тигров, – пишет Вольтер Д'Аламберу при известии о казни. Нет, теперь не время шутить, остроумие неуместно на бойне... И нация позволяет это!.. Парижане поговорят немного и идут в комическую оперу... Я плачу о детях, у которых вырывают языки. Я – больной старик, мне это простительно». Друзья советуют Вольтеру не вмешиваться в это дело. Его «Словарь» брошен в костер вместе с телом казненного. В парламентских сферах поговаривают, что он виновнее Ла Барра, что его-то сочинения и развращают Францию. Вольтер и сам был испуган вначале и подумывал о переселении во владения Фридриха II; но это не помешало ему проявить самую нежную заботливость об Эталонде и знакомить Европу, путем публикации в печати, со всеми отвратительными подробностями процесса и казни в Аббевиле. В 70-х годах Вольтер делал попытки добиться пересмотра дела, но безуспешно. Лишь при республике был отменен этот ужасный приговор.

Принимаясь хлопотать за тех или других жертв неправосудия, Вольтер, с одной стороны, всей душой возмущался именно данной несправедливостью и сочувствовал данным лицам, но в то же время он имел в виду и общее положение дел. Борьба с отдельными парламентами за отдельные жертвы, которых он старался вырывать из их рук, сама собою превратилась у него в более общую борьбу за реформу судопроизводства. Пытки – ординарные и экстраординарные – были тогда еще в полной силе при следствии. Приговоры не мотивировались. Судопроизводство было тайное. Должности судей продавались. В различных провинциях действовали различные законы. Широко применяемая смертная казнь осложнялась колесованием, обрубанием членов и другими мучениями. Бывали еще и сожжения. Внимательно вникая несколько лет подряд во все подробности этих средневековых ужасов, Вольтер проникся к ним величайшей ненавистью. Когда в 1764 году вышло произведение Беккариа «О преступлениях и наказаниях», защитник Каласов радостно приветствовал такого сильного союзника. Он написал свое первое сочинение против казни Ла Барра в форме послания к Беккариа, а позднее составил комментарии на его знаменитое произведение.

Все эти судебные ужасы разрешались парламентами. Они же преследовали книги и писателей. Состоя в большинстве из янсенистов и оставшись после изгнания иезуитов, в 1762 году, господами положения, они вскоре оказались хуже иезуитов: и нетерпимы, и безжалостны. Написанная Вольтером «История парламента» довольно беспристрастна, но далеко не лестна для этого учреждения. Он находил, что если парламенты и ограничивают королевскую власть, то лишь в хорошем, мешая необходимым реформам и развитию духа терпимости, к которому гораздо более склонна высшая знать, составляющая двор и влияющая на королей. «Вы правы, – писал Вольтер Д'Аламберу, – восставая против знати и ее льстецов; но знатные люди покровительствуют при случае; они презирают ханжество и не любят преследовать философов. Что же касается ваших парижских педантов, купивших свои должности, этих грубых буржуа, полуфанатиков-полуглупцов, то эти не способны ни на что, кроме гадостей».

Поэтому, когда в 1771 году канцлер Мопу остановил действия парижского парламента и предпринял в то же время некоторые – правда, незначительные – судебные реформы, Вольтер оказался на стороне Мопу и в противоречии с общественным мнением, поддерживавшим парламент.

Под конец жизни, в семидесятых годах, фернейский патриарх взял на себя также защиту несчастных крепостных, живших на землях монастыря

Сен-Клод. До них дошли вести о существовании неподалеку от них такого человека, которого боятся даже монахи, и они обратились за защитой к Вольтеру. Монастырь Сен-Клод сохранял еще в то время уже исчезнувшее в большинстве французских провинций право наследования имущества, остававшегося после смерти кого-либо из живущих на его землях. Вольтер затеял дело, но его хлопоты не увенчались успехом. Безансонский парламент, на рассмотрение которого поступила жалоба крестьян, подтвердил права монахов. Тем не менее, поднятая агитация, будучи обобщенной под пером Вольтера в агитацию против остатков крепостного права вообще, не пропала даром, подготавливая умы к его отмене. Несколько удачнее были старания владельца Фернея об освобождении своих соседей, обитателей узкой полосы земли между Юрскими горами и Женевским озером, от действия «отяжной системы» взимания налогов. При министерстве Тюрсо соседи Вольтера были, за определенный денежный взнос, избавлены от генеральной фермы с ее разнообразными поборами и многочисленными агентами. И здесь, как и везде, частная защита перешла у Вольтера в общую агитацию против того зла, от которого вместе с обитателями данного клочка земли страдало большинство французского населения.

Когда Вольтер купил Ферней, эта деревенька состояла из восьми хижин, в которых несколько крестьянских семей влачило самое жалкое существование. В последние годы его жизни Ферней насчитывал уже 1200 жителей и представлял собою цветущее местечко, ему одному обязанное и своим существованием, и благосостоянием. Население Фернея составилось из переселенцев, для которых Вольтер строил дома, сдавая их за небольшие деньги, выплата которых прекращалась бы с его смертью. Он же давал им денег на обзаведение и устраивал через свои связи широкий сбыт для них продукции – главным образом часов. Часовщиками были по большей части переселенцы из Женевы, потомки французских эмигрантов, составлявшие в этом городе низший бесправный слой населения. Они сделали попытку добиться для себя прав женевских граждан, были побеждены и во множестве переселились в гостеприимно открытый для них Ферней.

Первоначальная дружба с женевским правительством, так охотно «приходившим обедать» в Делис, оказалась непрочной. Первым облачком явилось высказанное Вольтером убеждение, что казнь Сервета была просто убийством, а Кальвин – жестоким изувером. Театр, открытый всем желающим и неудержимо привлекавший женевскую молодежь, тоже причинял немало беспокойства властям кальвинистского города. Затем в начавшихся гражданских смутах маленькой республики, хотя Вольтер и

пытался держать нейтралитет, приглашая на обеды представителей обеих ссорящихся партий, но «под рукою» давал советы оппозиции. Все это вызывало неудовольствие против Вольтера и заставило его окончательно променять Делис на Ферней, постепенно завоевавший все его симпатии.

Особенно гордился владелец Фернея тем, что в этом местечке с населением, смешанным из католиков и протестантов, не было и тени религиозной вражды. Наоборот, протестанты помогали католикам украшать их религиозные праздники и почтительно присутствовали на этих праздниках, а католики от души благодарили их за участие, вместо того чтобы гнать и преследовать, как в других местах. Это обстоятельство подтверждало в глазах Вольтера его мнение, что низшие классы будут более терпимы, как только высшие вместо того чтобы, в лице духовенства, разжигать религиозную вражду, будут подавать им пример терпимости. Выстроив в Фернее новую церковь вместо почти развалившейся старой, которую он там застал, Вольтер посвятил ее одному Богу, вера в Которого объединяет все вероисповедания. Показывая церковь посетителям Фернея, он обращал их внимание на то обстоятельство, что это едва ли не единственный во Франции храм, посвященный Богу, а не тому или другому святому.

Роль хозяйки дома, сперва в Делисе, а затем в Фернее, играла поселившаяся у Вольтера г-жа Дени – та самая племянница, которая была арестована с ним во Франкфурте. Вольтер сделал ее своей наследницей и не упускал случая в письмах к друзьям хвалить как саму ее, так и ее драматический талант. Но иначе отзываются о ней почти все знакомые Вольтера, которым случается упомянуть о племяннице знаменитого писателя в своих письмах или воспоминаниях. Ее изображают недалекой, тщеславной, эгоистичной женщиной. «Она была еще сносна, пока не возымела, в качестве племянницы Вольтера, претензий на философию и остроумие», – пишет о ней одна дама. Все три секретаря Вольтера, оставившие о нем воспоминания, сходятся в похвалах ему и в отвращении к его племяннице. В 1760 году он обзавелся приемной дочерью, взяв на воспитание шестнадцатилетнюю родственницу Корнеля, находившуюся в самом бедственном положении. Старик быстро привязывается к веселой ласковой девочке, и сам, несмотря на множество занятий, принимается учить ее, начиная с чистописания и грамматики. «У меня множество дел на руках, – пишет он Д'Аржанталю, – но самое трудное из них – ознакомить с грамматикой мадемуазель Корнель, которая не чувствует ни малейшего расположения к этой божественной науке».

Он обеспечил своей воспитаннице значительное состояние и через три

года выдал ее замуж, оставив молодых жить у себя в Фернее. «Я сам приобрел себе пару детей, в которых отказала мне природа», – радуется он в письмах к друзьям. Потом пошли и внучата.

С каждым годом недавно пустынный Ферней все более и более оживлялся. Личность Вольтера привлекала в город многочисленных гостей. Когда из Парижа приезжали артисты: знаменитая актриса Клерон и еще более знаменитый Лекен – когда-то скромный ученик Вольтера, – в Фернее наступал шумный праздник. Давались спектакли, на которые публика собиралась со всей окрестности. После представления фернейский патриарх угощал зрителей ужином на сто, иногда даже на триста приборов; а после ужина начинались танцы. Кроме друзей-артистов, приезжали также друзья-писатели и единомышленники: Д'Аламбер, Мармонтель, Дамилявиль, г-жа де Сен-Жюльен, Тюрго, аббат Морелле и другие. Лагарп, тогда еще молодой и бедный, прожил в Фернее несколько лет вместе со своей женой.

Чтобы действовать на общественное мнение из такого отдаленного уголка, как Ферней, чтобы всегда знать с точностью, каково настроение Парижа, какие вопросы стоят там на очереди, необходимо было поддерживать самую деятельную переписку с парижскими друзьями. Главными корреспондентами Вольтера были Д'Аламбер, Д'Аржанталь, Дамилявиль... Последний был чрезвычайно полезен Вольтеру – да и не ему одному – также тем, что, служа в администрации, имел право по своей должности прикладывать печать генерального контролера ко всем письмам и пакетам, выходящим из его бюро, и широко пользовался этим правом в интересах своих друзей. Тайна писем в то время не соблюдалась во Франции, а почта чуть ли не ежедневно приносила в Ферней письма и рукописи, требовавшие тайны.

Вольтер вел из Фернея деятельную переписку также со многими коронованными особами и их родственниками. С Фридрихом II переписка возобновилась еще во время Семилетней войны, когда королю приходилось так плохо, что он подумывал о самоубийстве и даже выразил свои думы в стихотворении. Несмотря на ссору, как Вольтер, так и сам Фридрих продолжали очень интересоваться друг другом и собирать один о другом самые подробные сведения. Узнал Вольтер и о мрачных намерениях своего «Люка», как звал он теперь бывшего «Соломона севера», по имени жившей у него в Делисе злой обезьяны, в которой находил сходство с Фридрихом. В письме к маркграфине Байрейтской, любимой сестре прусского короля, Вольтер выразил беспокойство о судьбе своего бывшего друга. Та сообщила о письме брату, и Фридрих не замедлил сам написать Вольтеру,

приложив к письму и знаменитое стихотворение. В своем ответе бывший учитель старается рассеять мрачные мысли короля; переписка снова завязывается и тянется с небольшими перерывами до самой смерти старшего из корреспондентов. Это еще не значит, что Вольтер забыл франкфуртскую историю. В первых письмах он, конечно, не упоминал о ней, но как только одержанные победы разогнали мрачные мысли его корреспондента, он начал время от времени попрекать его за вынесенные обиды. Тот, со своей стороны, не оправдывая подробностей поведения Фрейтага, твердо стоял на том, что Вольтеру только потому так легко сошли с рук его поступки с ним, Фридрихом, что он имел дело с человеком, влюбленным в его талант. Несмотря, однако, на эти взаимные упреки, их переписка снова постепенно приняла и до конца уже сохранила самый дружеский характер.

Много удовольствия Вольтеру и много пользы той массе лиц, заботы о которых он брал на себя, доставили также его русские отношения. Они начались – еще, правда, чисто официальные – при императрице Елизавете, поручившей Вольтеру, по совету Шувалова, написать историю Петра Великого. Прекратившись со смертью императрицы, они снова возобновляются при Екатерине, но имеют уже другой характер. Новая императрица – усердная читательница Вольтера, поклонница его таланта. Она пишет ему простые, любезные, иногда шуточные и остроумные письма. А он в полном восторге от ее ума, от «Наказа», от религиозной терпимости, которой нет еще во Франции и которую она водворит в своей обширной империи. Он осыпает ее похвалами, и Екатерина пишет ему, что «просит его очень серьезно не хвалить ее прежде, чем она этого заслужит». Но эти похвалы не лесть, во всяком случае, – не одна лесть с его стороны. Он также усердно хвалит русскую императрицу людям, настроенным очень враждебно против нее, например, герцогине де Шуазель, жене министра, который мог гораздо больше сделать ему добра или зла, чем сама Екатерина. «Я – ее рыцарь, – пишет Вольтер другой недоброжелательнице Екатерины, г-же Дю Деффан, – и готов защищать ее против целого света... Я уверен, что ее муж не сделал бы ни одного из тех великих дел, которые ежедневно совершает моя Екатерина». Он гордился ею, она *его* – его русская императрица, его Екатерина. Свое пристрастие к ней он распространяет и на русское дворянство и утверждает, что «открытия Ньютона стали катехизисом дворянства Москвы и Петербурга». Со своей стороны, Екатерина II очень охотно исполняет его желания, и притом в гораздо больших размерах, чем он рассчитывает. Она покупает несколько сот изготовленных в Фернее часов, чтобы поддержать приютившихся под

покровительством Вольтера женеvских переселенцев, и щедро участвует во всяких пожертвованиях в пользу то тех, то других несчастных, заботу о которых берет на себя Вольтер. После смерти великого писателя она покупает у г-жи Дени его библиотеку вместе с некоторыми рукописями и письмами. «Чувствительные души, – пишет она г-же Дени, – при виде этой библиотеки всегда будут вспоминать, что этот великий человек сумел внушить человечеству то всеобщее доброжелательство, которым дышат все его произведения...»

Вольтер зачислял также в «партию философов» королей датского, шведского и польского и находился в переписке со многими немецкими принцами и принцессами, из которых, после рано умершей маркграфини Байрейтской, всего больше дорожил дружбой герцогини Саксен-Готской.

В июле 1766 года побывал у Вольтера герцог Брауншвейгский, тот самый племянник Фридриха II, который более четверти века спустя командовал прусскими войсками в коалиционной армии, шедшей на усмирение революции, и который своим оскорбительным манифестом так сильно содействовал патриотическому порыву, спасшему Францию. В 1766 году будущий вождь реакции был вольнодумцем. Незадолго до его визита Вольтер узнал о казни Ла Барра и весь поглощенный жалостью и негодованием успел внушить свои чувства гостю и воспользоваться этим для своих целей. Он условился с герцогом, что напишет ему ряд писем «О людях, обвинявшихся в том, что дурно отзывались о религии», а потом эти письма попадут невзначай в печать. Времена были опасные, но нельзя же преследовать человека за опубликованные без его ведома частные письма к особе королевского дома!..

В эти поздние годы своей жизни Вольтер работал, как сообщает его секретарь Ваньер, часов по восемнадцать в сутки. Спал он очень мало и, случалось, будил по ночам секретаря, чтобы продиктовать ему пришедшие в голову мысли. Зато большую часть дня он работал – читал или диктовал, – лежа в постели. При малейшей болезни – действительной или кажущейся – он по несколько дней и даже недель совсем не одевался и не выходил из комнаты, но работать не переставал. В работе он был очень нетерпелив. Раз начавши, изо всех сил спешил кончить и сейчас же печатать, если не было к тому особых препятствий. При усиленной работе он поддерживал свои силы громадным – чашек по 15—20 в день – количеством кофе, к которому привык с давних пор. Определенных часов для еды, как и для сна, у него не было: ел когда захочется и вообще очень мало. Здоровье его никогда не было цветущим. «Я родился убитым», – возражал он знакомым, которые говорили ему, что он убивает себя своим образом жизни. Но худой, как

скелет, с необычайно блестящими до самой смерти глазами, он почти никогда не хворал настолько, чтобы прекращать занятия. «Желчь и постоянно раздраженные нервы были, есть и будут вечными причинами его болезней», – говорил доктор Троншен, лечивший Вольтера в первые годы его поселения близ Женевы. «Я не знаю никого, кто был бы умнее Троншена и говорил лучше его», – восхищался пациент своим доктором. Но доктор не платил ему тою же монетой. Спокойному, уравновешенному Троншену не нравилась эта бесконечно нервная и совсем неуравновешенная натура. «Его нравственное состояние было так неестественно, так искажено с самого детства, что в настоящее время все его существо представляет собою нечто искусственное и ни на что не похожее», – писал Троншен Жан-Жаку Руссо.

По признанию своих друзей, Вольтер действительно не походил ни на что, или, вернее, ни на кого, но они вкладывали в подобный отзыв совершенно противоположное чувство. «Как громадно расстояние между одним человеком и другими!» – восклицает Д'Аламбер, описывая Фридриху II тот взрыв хохота, которым приветствовал Париж сказку «Белый бык», написанную 80-летним Вольтером. В ней, действительно, так и бьет ключом самое веселое и добродушное остроумие. Сюжет имеет некоторое отношение к предмету постоянных занятий Вольтера – Библии, но сравнительно самое безобидное. В сказке фигурируют одни библейские животные: бык Навуходносор, змей, кит, Валаамова ослица, а из людей – одна Эндарская волшебница, которая пасет всех этих зверей. Особенно хорош змей. Он обладает самой благородной и выразительной физиономией, в его осанке много достоинства, а по манерам – это придворный маркиз. Он чрезвычайно любезен с дамами и не может отказать им ни в чем решительно. Отсюда-то – уверяет змей – и пошла про него дурная слава. Вольтер вообще считал змей оклеветанными и не упускал случая замолвить за них мимоходом доброе слово.

В разговорах Вольтер был до самой смерти положительно виртуозом. Многие из современников утверждают, что остроумие, живость и меткость его речи превосходили все им написанное. Но в Фернее он не был щедр на разговоры. Только самым любимым или особенно интересным гостям уделял он по несколько часов после позднего обеда, остальным же показывался на самое короткое время, а часто и вовсе не показывался, ссылаясь на нездоровье. Тогда любопытные, явившиеся посмотреть на знаменитого человека, должны были довольствоваться обществом его племянницы или отца Адама, иезуита, приютившегося у Вольтера после изгнания из Франции членов этого ордена. Но не от всех посетителей легко

было отделаться, и иные англичане оказывались очень упорными. «Скажите ему, что я умер», – распорядился хозяин Фернея относительно одного англичанина, желавшего непременно видеть его, хотя бы и больного. Слуга возвратился с известием, что англичанин не хочет уйти, не поклонившись его телу. «Тело тотчас же после смерти унес дьявол», – велел передать Вольтер назойливому посетителю.

Добродушный и дружелюбный в отношениях со всеми домашними, он, однако, нередко поддавался своему раздражению. Но, всплыв на кого-нибудь из прислуги, он часто в тот же день старался загладить резкие слова и в качестве извинения ссылался на свою болезнь.

В последние годы, кроме больных нервов, ему все чаще и чаще давала о себе знать давно начавшаяся болезнь мочевого пузыря. Несколько раз случались с ним также обмороки.

Года за три до смерти Вольтер опять заполучил себе дочь, вместо переселившейся в Париж племянницы Корнеля. Еще в шестидесятых годах он спас от разорения своих соседей, дворян де Красен, выкупив их заложенное имение, чуть было не попавшее в руки иезуитов. С тех пор де Красен и их близкие родственники де Варикуры были своими людьми в Фернее. В старинных, но бедных дворянских семьях было в обычае отдавать девушек в монастырь. Без приданого трудно было сделать равную по рождению партию. Молоденькой, умной и красивой девушке де Варикур предстояла такая судьба. Она покорила семейному решению, но не скрывала, что не чувствует призвания. Вольтер избавил ее от монастыря, взяв к себе на тех же условиях, как когда-то Марию Корнель. Девушка нежно ухаживала за больным стариком, старалась предупредить всякое его желание. «Belle et bonne» ^[4] – прозвал он ее. В 1777 году он выдал ее замуж за маркиза де Виллет, своего любимца и горячего последователя, очень бурно прошедшего первую молодость, но обещавшего остепениться. Молодые собирались в Париж, где де Виллет имел собственный дом.

Между, тем со вступлением на престол Людовика XVI времена настали более либеральные. Из Парижа писали, что Вольтеру нечего опасаться неприятностей со стороны правительства. Г-жа Дени, скучавшая в Фернее, настаивала на переселении в Париж. Вольтер долго колебался, но в начале 1778 года решился на непродолжительную поездку. Совсем расстаться со своим Фернеем и его обитателями он не рассчитывал. Отъезд был назначен на пятое февраля. Племянница и де Виллеты уехали раньше. Жители Фернея со слезами провожали старика, не надеясь на его возвращение. Они не ошиблись, а скоро им пришлось оплакивать и свое, им созданное, благосостояние.

Вольтер ехал со своим верным Ваньером, который был против поездки, опасаясь за здоровье старика. Последний был очень весел, шутил и смешил дорогой своего недовольного спутника. На парижской заставе на вопрос, нет ли с ними контрабанды, он заявил, что нет никакой, кроме его собственной особы.

Вольтер остановился в отеле де Виллет. Он был так бодр, или, вернее, возбужден, что, не отдохнувши и часу с дороги, отправился пешком к Д'Аржанталю. Здесь первое полученное им известие было о смерти Лекена. Вольтер заплакал. Потеря сравнительно молодого друга вызвала в нем тяжелое предчувствие.

Быстро разнесся по Парижу слух о приезде Вольтера, и многочисленные посетители наполнили салон Виллетов, который уже не пустел потом до самого конца. Вольтер всех принимал, знакомых и незнакомых, и находил для всякого какую-нибудь любезную, часто остроумную фразу, которая тотчас же разносилась по всему городу. Когда он выходил на улицу, его провожала толпа и не умолкали приветственные крики. Матери показывали его детям. Оказалось, что самым известным из его дел была защита Каласа. О ней знали даже безграмотные старухи. Вольтеру была приятна такая известность. Его писательская слава была давно незыблема, но враги продолжали чернить его как человека, а защита Каласа была делом именно человека с горячим сердцем, способным биться из-за чужого страдания.

Вся эта слава, бесчисленные посетители, шум и овации радовали Вольтера, возбуждение заглушало чувство усталости. Но доктор Троншен, хорошо изучивший его в Женеве, а теперь встретившийся с ним в Париже, советовал ему как можно скорее возвращаться в Ферней. «Старых деревьев, – говорил он, – не пересаживают, если не хотят, чтобы они засохли». И старое дерево не замедлило почувствовать последствия пересадки, у него начали пухнуть ноги, затем открылось кровохаркание. Доктор уложил его в постель и запретил говорить и принимать посетителей, но это запрещение часто нарушалось. Г-жа Дени, возненавидевшая Троншена за настоятельные советы возвратиться в Ферней, постаралась удалить его от больного. На этот раз, однако, Вольтер оправился и 30 марта побывал в Академии, где его приняли с большим почетом. Но величайшее торжество, настоящий апофеоз ждал его в театре, куда он отправился в тот же вечер. Давали «Ирен», последнюю, очень слабую, трагедию Вольтера, но вся публика смотрела только на него и ему аплодировала. На сцене венчали его бюст, а в ложе его самого лавровыми венками. «Меня задушат под цветами», – говорил Вольтер. Когда он уходил, вся публика, почтительно

расступаясь перед ним, стремилась хотя бы только дотронуться до его одежды и затем всей массой провожала его до дому.

Ваньер между тем умолял его возвратиться в Ферней. «Если бы он уехал, то наверное прожил бы еще лет десять», – говорит он в своих воспоминаниях и обвиняет г-жу Дени, сопротивлявшуюся отъезду, чуть не в убийстве Вольтера. Но не одна эта старая эгоистка повлияла на решимость Вольтера остаться в Париже. Этому сильно содействовала также Академия, избравшая его своим директором на следующую четверть года. Вольтер хотел, однако, хоть на время съездить в свой Ферней, чтобы устроить там дела колонии. Уже назначен был день отъезда, когда знаменитому писателю передали о намерении короля, как только он уедет, послать ему вдогонку запрещение когда-либо возвращаться в Париж. Тогда он решил остаться. В Ферней был отправлен Ваньер за нужными бумагами и вещами. Покончив с мыслями об отъезде, Вольтер с жаром принялся за исполнение своих обязанностей директора Академии. Он предложил ей подготовить словарь по новому плану, который состоял в том, чтобы проследить историю каждого слова и отметить различные оттенки смысла, которые принимало оно в различные века. Эта мысль, очевидно, давно занимала его, так как даже в своем «Философском словаре», преследовавшем совсем иные цели, он отмечает для некоторых слов различные смыслы, какие они имели прежде. Раздавши академикам каждому по букве, он взял себе «А» и, чтобы поощрить к труду своих ленивых сочленов, горячо принялся за работу. Возбуждение скрывало от него самого действительное его состояние, но за работой на него стала нападать сонливость, которую он прогнал своим обычным средством – большим количеством кофе. Но на этот раз прогнанный сон уже не возвращался более, несмотря на сильную усталость. Против бессонницы он прибег к опиуму и в нетерпении несколько раз повторял приемы, так как первые не подействовали. Он впал, наконец, в полубессознательное состояние, от которого очнулся со страшными болями в области мочевого пузыря. Позванный по настоянию больного Троншен нашел его безнадежным. Передавая в письме к брату тяжелые впечатления последних свиданий с Вольтером, Троншен говорит в заключение, что такой конец еще сильнее «утвердил бы его в его принципах, если бы эти принципы нуждались в подкреплении». На этой фразе знаменитого доктора основалась впоследствии легенда о страхе чертей и ада, обуявшем Вольтера перед смертью. Но Троншен ни слова не говорит о страхе ада, а лишь о страшном нежелании больного расставаться с жизнью. Он то высказывал ему жгучее раскаяние в том, что не уехал по его совету, то

спрашивал Троншена, не может ли он спасти его, и толковал о словаре, над которым ему надо работать.

Эти жалобы понятны. Вольтер так любил работать, и судьба почти до конца сохранила ему во всей силе его громадную способность к труду. Д'Аламбер, описывая Фридриху II последние дни Вольтера, тоже говорит о сожалениях больного о том, что не уехал из Парижа, но, по словам Д'Аламбера, умирающий, в общем, был тверд и спокоен в те недолгие промежутки, когда приходил в сознание. В один из таких промежутков, за три дня до смерти, он продиктовал свое последнее письмо к молодому Лалли, сыну генерала, казненного за государственную измену, в которой тот был невиновен. При помощи Вольтера сын добивался и добился наконец отмены приговора, и Вольтер поздравлял его с этой победой. Он умер 30 мая, в 11 часов ночи.

Во избежание отказа в погребении, Вольтер еще в марте, во время первой болезни, исповедался у одного аббата, который удовольствовался простым заявлением больного, что он просит у Бога прощения, если чем погрешил против церкви. Вольтер находил, что аббат если и не умен, то очень добрый человек, и за несколько дней до смерти опять послал за ним. Но доброму аббату сильно досталось от его начальства за то, что он не потребовал от Вольтера формального признания главнейших догматов церкви. Поэтому он явился теперь не один, а с приходским священником, который и начал допрос. «Оставьте меня умереть спокойно», – отвечал больной и умер, не получив отпущения грехов. На этом основании парижское духовенство не разрешило похоронить его тело. Племянник Вольтера, аббат Миньо, ночью увез своего мертвого дядю, под видом больного, в Шампань, в свое аббатство, и там со всевозможной поспешностью похоронил его под плитой монастырской церкви. Едва окончилась церемония, как пришло запрещение хоронить преступное тело; но было уже поздно.

Прошло 13 лет. Власть духовенства пала. Монастырь, где лежали останки Вольтера, поступал на распродажу в качестве национального имущества. Об этом заговорили в Париже, и Национальное собрание постановило перенести тело великого борца за свободу мысли в Париж, в церковь Св. Женевьевы, превращенную в Пантеон великих людей Франции.

На парадной колеснице, встречаемой и провожаемой по дороге всем окрестным населением, гроб Вольтера прибыл в Париж 10 июля 1791 года. Он был поставлен на площади Бастилии на подножии, сложенном из камней бывшей крепости, а на другой день со всей пышностью и

энтузиазмом народного торжества перенесен в Пантеон.

Прошли еще десятки лет. Наступила Реставрация. Пантеон стал снова церковью Св. Женеьевы: гробы Вольтера и Руссо были снесены в подвал. Но уже тогда ходили слухи, что эти гробы пусты, что тела двух великих людей были предварительно выброшены в выгребную яму.

Тем не менее в 1830 году, когда церковь стала снова Пантеоном, гробы без всякого осмотра их содержимого были поставлены на прежнее место.

Наконец в 1864 году наследники Виллета принесли в дар нации сердце Вольтера, хранившееся в отдельном сосуде. Было решено присоединить это сердце к телу в гробнице Пантеона, снова ставшего церковью и зависевшего от Парижского архиепископа. Когда к архиепископу Дарбуа обратились за разрешением, он ответил, что сперва следует удостовериться, есть ли что в гробнице, так как, насколько ему известно, она давно пуста.

Объяснение этого таинственного исчезновения мертвых костей находится в сообщении Лакруа, опубликовавшего слышанный им рассказ Пюиморена о том, что произошло одной майской ночью 1814 года. С молчаливого разрешения властей несколько «благочестивых» господ – Пюиморен был в их числе – вскрыли гробы Вольтера и Руссо, сложили их кости в один холщовый мешок, вывезли за город и бросили там в заранее приготовленную яму с негашеной известью.

Родственники умершего Пюиморена постарались бросить тень сомнения на достоверность рассказа об этом «благочестивом» поругании над мертвыми врагами. Но как бы там ни было, а вскрытые гробы Вольтера и Руссо оказались действительно пустыми, и опустели они при *Реставрации*.

Вольтер не привнес новых идей в область философской мысли, не сделал никаких важных научных открытий. На его долю выпала другая – в тот момент, быть может, гораздо важнее – задача. Он перечеканил тяжеловесные слитки знаний, доступные до тех пор лишь записным ученым, в монеты, пригодные для обращения среди массы людей различных званий, состояний и национальностей. Его несравненный слог, ясное до прозрачности изложение и неистощимое остроумие делали всякий предмет, которого он касался, доступным и привлекательным всей массе способных читать людей, от королей до ремесленников, от версальских придворных до русских помещиков, среди которых еще в середине XIX века можно было встретить старых «вольтерьянцев».

Кроме разрушительного действия в отношении всех унаследованных от средних веков традиций, главным результатом «пропаганды» Вольтера для Франции было, по нашему мнению, распространение веры в

силу человеческого рассудка, – веры, свойственной большинству французских философов второй половины XVIII века, но раньше и ярче всего сказавшейся у Вольтера.

Источники

1. Oeuvres complètes de Voltaire avec préfaces, notes et commentaires nouveaux par Em. de la Bédollière et G. Avenel. При чем сохранены также примечания Кондорсе и Декруа к первому полному собранию сочинений Вольтера 1785—1789 годов.

2. Mémoires sur Voltaire et sur ses ouvrages par Wagnière et Longchamp, ses secrétaires. Paris, 1826.

3. *Collini*. Mon séjour auprès de Voltaire. Paris, 1807.

4. *Duvernet*. Vie de Voltaire suivie d'anecdotes qui composent sa vie privée. Genève, 1786. Для этого издания написаны заметки о Вольтере актера Lekain.

5. *Condorcet*. Vie de Voltaire.

6. *Gust. Desnoiresterres*. Voltaire et la société au XVIII siècle Paris 1867—1876. В 8 томах.

7. *D. F. Strauss*. Voltaire. Sechs Vortr. Leipzig, 1870.

8. *J. Morley*. Voltaire. London, 1872.

9. *Gaberel*. Voltaire et les Gênévois. Paris, 1857.

10. *Grimm*. Correspondance littéraire. Paris, 1877—1882.

11. *A. Sayous*. Le XVIII siècle à l'étranger, hist. de la litt. franc. dans les divers pays de l'Europe depuis la mort de Louis XIV, jusqu'à la rév. franc. Paris, 1861.

12. *H. Taine*. Les orig. de la France contemp.

notes

Примечания

1

Les prêtres ne sont pas ce qu'un-vain peuple pense... и т. д.

«Невежественный философ» (фр.)

3

«Простодушный» (фр.)

4

«Красивая и добрая» (фр.)